

Андрей Десницкий

Письма спящему брату

ДОМ  НАДЕЖДЫ
Москва, 2009

ОБОРОТ ТИТУЛА, ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ, АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Как родилась идея этой книги? Сначала я написал «Записки Балабола» — продолжение гениальных «Писем Баламута» К. С. Льюиса. Это был дневник беса-искусителя, занимающегося своим делом в современной России, во многом шуточный, но отчасти серьезный. Говорить об аде совершенно всерьез было бы просто жутко, да и нет у меня такого опыта, но зато вполне можно было расставить некоторые вешки на наших повседневных тропках: осторожно, если идти в этом направлении, рано или поздно тебя обступит тьма.

«Записки Балабола» вышли, вызвали некоторое количество отзывов — и просьб о продолжении. Но продолжать писать от имени беса мне не хотелось совершенно: да, форма эта почти беспрюиришна, так можно обличать пороки ближних и несовершенство общественного устройства бесконечно, но где-то надо остановиться. Вот если бы можно было взглянуть на человеческую жизнь глазами ангела, а не беса... Нет, такого я написать просто не мог, это я понимал совершенно четко. Если на страницы выходит невсамделишний бес (а такой, конечно, только и может выйти, иначе бы каждый из нас содрогнулся от отвращения на первой же странице), это всего лишь ослабленный штамм бактерии, прививка от болезни. Но ослабленный ангел?!

А потом... В какой-то момент, размышляя о собственной судьбе, я вдруг четко осознал, какого посмертия я желал бы сам для себя. И тогда я его постарался представить и выразить в словах, я начал описывать человеческую жизнь глазами человека, как от века и пишутся книги. Единственная особенность в том, что человек, от имени которого ведется рассказ, уже перешел ту грань, которую всем нам только предстоит перейти.

Впрочем, эта книга вполне самостоятельна. Не обязательно читать перед ней «Записки Балабола», а тем, кто их прочитал, не стоит ожидать прямого продолжения уже знакомого текста. Это действительно совсем другой взгляд.

Я понятия не имею, соответствует ли мой вымысел хоть каким-нибудь посмертным реалиям. О них мы знаем крайне мало — только самое-самое главное, поэтому остальное приходится домысливать и воображать. Наверное, стоит сказать еще одну банальнейшую очевидность: эта книга не претендует на статус пророчества — в уста своих героев я вкладывал собственные мысли (а еще чаще подсказанные или услышанные у других), которыми мне хочется поделиться с читателем. Многие из этих догадок наверняка выйдут неверными, и уверен я только в одном: всё прекрасное будет там неизмеримо прекрасней, чем мы себе представляем, а многие наши нынешние оценки изменятся.

Эту книгу я посвящаю своей маме. Вскоре после того, как книга была написана, начался мамин уход, и это были очень трудные, но и удивительно светлые месяцы, когда мы снова стали так близки, как бывали прежде только в раннем моем детстве. Ее уход стал началом нашей встречи, и теперь остается верить, надеяться и ждать Встречи окончательной и бесконечной.

Живите в доме — и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.
Вот почему со мною ваши дети
И жены ваши за одним столом, —
А стол один и прадеду и внуку:
Грядущее свершается сейчас,
И если я приподымаю руку,
Все пять лучей останутся у вас.

Арсений Тарковский

I.

Мишенька, здравствуй!

Как хотелось бы мне сказать тебе эти слова лично и крепко обнять тебя, как это бывало у нас тогда и как потом, мы, кажется, разучились, — но пока мне остается только ждать, когда это может произойти. Я знаю, что ты не уснул — ты просто дремлешь, тебе грезится прошлое, ты перебираешь мысли и чувства, ты тоже готовишься. Просто у всех свои скорости и свои характеры — вот кто бы мог подумать, что здесь я окажусь шустрее тебя? Ты ведь всегда звал меня недотепой.

Я и есть недотепа, Мишка. Все та же, как в пять лет, когда уронила кувшин с молоком и мотрела, как разливается белое пятно по пахучим сосновым доскам пола, перемешиваясь с солнечным светом — помнишь, на даче, у Сокольничьей рощи? — так стояла и смотрела, замерев от красоты мира и собственной нелов-

кости. Я все такая же, правда. Ты же не станешь думать, будто я хочу похвастаться: мол, пока ты спишь, я тут...

Просто хочу тебе рассказать о себе. Я верю, что ты очнешься от своей дремы и мы будем говорить столько, сколько потребуется, ведь впереди у нас будет вечность, но сейчас ты не бодрствуешь, и я ничего не могу с этим поделать. А когда ты проснешься, я буду уже другой, мы ведь постоянно меняемся, и наш переход сюда, наша смерть — далеко не самая последняя перемена. Может быть, тебе будет радостно узнать, что происходило со мной, пока ты спал.

Мы и здесь не можем полностью отвлечься от этого земного времени, хотя оно уже утрачивает свою власть над нами, — может быть, и могли бы, если бы не любили никого и ничего на земле, а так у нас не получается. Вот и летаем мы над собственным прошлым, как птицы над землей, высматривая и милые сердцу минуты, и страшные, черные провалы... Если увлечешься полетом, можно задремать, как случилось с тобой. Что тебе грезится сейчас? Наверное, наш предрождественский Столешников, огни витрин, скрип снега, и звонки трамвая, и как вносят с мороза елку, а Груня сердится, что хвои натрясут, но ничего не говорит, а мама беспокоится, чтобы не застудили детей. А дети, то есть мы, стоим, раскрыв рот, и гадаем, что будет нам на праздник — помнишь? Или это я только стояла, раскрыв рот, а ты и тогда уже был выдержанным, разумным мальчиком, к тому же старше меня на два года. Как теперь это смешно: старше на два года — а тогда так важно казалось.

Знаешь, я была недавно в Столешниковом. Он изменился так, что и не узнать, но дом наш не снесли (там почти всё сейчас поносили), только витрины совсем другие,

и трамваев нет, и Рождество у них теперь не всегда со снегом, вот странно, да и никак я не привыкну, что Рождество снова празднуют, но только после Нового года, а не до... И так странно быть в этом и не этом городе — присутствовать там, где ничего уже почти не осталось нашего, присутствовать незримо, бестелесно. Не скрипнет снег под твоей ногой, и не купишь ты ничего в этом магазине, да и нечего тебе в нем покупать.

Это ведь одно из мучений, которое выбирают себе некоторые души, по слепоте считая это лучшей долей, — скитаться в тех местах, где бывали при жизни, словно можно найти там потерянное время, получить недоданное тепло. Ты не из таких, ты дремлешь. Я не знаю, когда и как ты выбрал это для себя, ты же оказался здесь раньше меня, но знаю, что в этом выборе ты не один.

Станный вы все-таки народ — спящие. Так привыкли мы рассуждать на земле о рае и аде, даже те, кто ни капли не верил в них, вот и думалось нам, что сразу после перехода ты отправляешься либо туда, либо сюда — а оказалось, что еще идти и идти. Либо выращивать это семечко собственной подлинности, чтобы оно могло вытянуться вверх, либо задавливать его, чтобы не мешало опускаться вниз. И только спящие — но я лучше буду говорить «дремлющие» — замыкаются в самих себе, и не видно снаружи, что происходит в этом коконе воспоминаний и образов. Знаешь, я видела недавно одного пробудившегося — он был как младенец, не узнавал родных, радостно удивлялся всему и хныкал, если не получалось что-то с первого раза (а тут почти ничего не дается сразу). Потом я узнала, что на земле он был убийцей-изувером, несколько веков назад он унес с собой множество жизней. Ты же слышал про «гари», когда наши предки сжигали себя целыми деревня-

ми, вместе с маленькими детьми, чтобы только не оскверниться прикосновением к тому, что считали нечистым? И вот, представляешь, он заснул. Я не знаю, что ему снилось, но проснулся он через три земных века свежим и наивным, сбросил с себя груз прошлого, и может быть, пройдет еще десять веков, прежде чем он сумеет заново с ним познакомиться, ужаснуться себе былому и принять себя нового.

К прошлому всем здесь приходится привыкать заново — и тебе, наверное, тоже это предстоит, а мне так точно дается это не сразу. Так странно здесь погружаться в свои воспоминания: они расступаются и охватывают, как вода в пруду, светлеют, проясняются, и вот я уже незримо присутствую при том, что лишь смутно и неверно помнила... Так вот как оно было на самом деле! Я же знала, но забыла. Заставила себя забыть, закрылась, придумала себе всё другое.

Знаешь, я пересмотрела столько всего из детства — нашего с тобой детства! — и это было удивительно прекрасно, но порой и грустно. Прошлое уже прошло, оно никогда не вернется, и ничего уже невозможно ни изменить, ни вычеркнуть. Сначала умиляешься и удивляешься, а потом приходится и покраснеть, и даже ужаснуться и себе, а иной раз и другим: вот это было. Особенно когда я стала возвращаться в то, что было после детства.

И все же многое остается для меня закрытым. Я путешествую по земной жизни осторожно, точнее, меня ведут по ней осторожно — не всегда расступается вода воспоминаний и не всё возвращается с прозрачностью тех дней. Пока что не всё. Может быть, я просто пока не готова, так сказал мне мой Максимыч.

Ты, наверное, поразишься, когда увидишь моего мужа, Мишенька. Ты не думай, он такой же добрый ворчун, ка-

ким был и на земле. Представляешь, первое, что я услышала от него, было: «Ну и заждался же я тут тебя, Антиповна!» — и та самая детская, внешне строгая, но такая светлая улыбка... Знаешь, когда я увидела эту его улыбку, я сразу поняла, что все будет очень хорошо, что я возвращаюсь домой и Максимыч снова со мной.

Это ведь благодаря тебе, Мишенька, мы встретились. Даже странно об этом думать, но если бы тогда не напросилась одна дерзкая гимназистка со своим братом-студентом на гулянье в Татьянин день, так и не увидели бы мы друг друга. Или все равно бы встретились, просто позднее и по-другому? Кто знает, мне иногда кажется, что, если близкие люди там, на земле, разъедутся даже по разным континентам, они обязательно притянут друг друга через океаны и времена. Но ты не дал нам разъехаться, Мишка! Помнишь, ты ужасно гордился своей студенческой формой, а я так еще больше гордилась, что мой старший брат — уже студент Университета, и вот вопреки всем традициям я таки потащилась за тобой в «Эрмитаж» на гулянье, одевшись, как взрослая барышня-курсистка.

Он так посмотрел тогда на меня — ну надо же, целый приват-доцент, такой ужасно взрослый, лет 27, смотрит на соплюшку-гимназистку такими глазами! — и вот видишь, что получилось. Правда, не сразу.

Может быть, ты уснул, потому что некому было тебя встретить? Родители... с ними все сложно. Я расскажу тебе потом. И вообще, первая встреча получается только с самими-самыми, и даже не угадаешь с какими. Я бы тоже хотела встречать людей, говорить им что-то светлое и простое, чтобы они не боялись — или, точнее, чтобы они боялись не того, чего привыкли бояться, и совсем не так, как

привыкли. Что все обязательно будет хорошо, только не надо засыпать, не надо отчаиваться, не надо...

Я бы рассказала о Нем. Но не все хотят слушать, я знаю, и знаю, что ты вряд ли захочешь так сразу, поэтому молчу. Многие ведь хотят оставаться без Него и после перехода. Я лучше буду пока говорить тебе о нас с Максимычем.

Только знаешь, я пока не могу никого встречать. Это было так странно — перейти из хлопот и очередей, из неустроенного нашего коммунального быта, из всего, что окружало меня, в мир, где не надо беспокоиться ни о чем из прежнего. Такими странными и смешными показались все эти собесы, пенсии, магазины, поликлиники...

Это такое счастье — увидеть любимых! Жаль, что пока не всех удалось повидать, кого хотелось, да и нужно было повидать — это ведь тоже труд, и он дается не всем и не сразу. А Максимыч... Знаешь, я всегда знала, что он особенный, но когда я увидела это... Ты не думай, он не зазнался, тут вообще не зазнаются. Великий — он самый внимательный к мелкому, иначе не получается. Я боялась, что его тут на части разорвут, а оказалось, что искусство быть великим — это искусство быть сразу со многими, и прежде всего с Ним, и никогда не терять никого. Это трудно, я только-только немножечко начала этому учиться.

Ладно, я не буду о своем. Я лучше вспомню что-нибудь очень светлое и яркое из нашего с тобой детства. Это было, наверное, первое лето, когда мы снимали дачу, и еще даже не лето, поздняя весна, холодная в том году. Мне было четыре, тебе шесть, мир был таким огромным, и ты показывал мне шмеля. Он ползал по старому, корявому пню: вялый, сонный, наверное, только что появился на свет. Солнце едва проглядывало в тот день из-за облаков, было еще прохладно, и он, наверное, не мог согреться, чтобы

улететь. Я так боялась, что он меня укусит, а ты важно рассуждал о шмелях, о том, что они ни за что не кусаются, если их не обижать, такие они добрые. И питаются цветочным соком, так ты тогда сказал.

А потом нянька позвала нас к чаю, и шмель вдруг сорвался с пня и полетел, тяжело так, медленно, и я вдруг так остро ощутила, что больше никогда-никогда не увижу этого шмеля. Я заплакала, и ты решил, что я испугалась, а я просто впервые в жизни узнала потерю живого: вот встретилось оно и исчезло, и его больше не будет. Потом мы пили чай с медовыми пряниками, ты наворачивал за обе щеки, а я беспокоилась за шмеля: где же он возьмет цветочный сок, если цветов еще нет? А добрая нянька тут же стала мне рассказывать, что он полетит на юг, в теплые страны, где цветет много-много цветов, и будет жить там долго и счастливо. И вообще у нас только что настал двадцатый век, сказал ты, а это должен быть очень-очень счастливый век, так что и со шмелем будет все хорошо. А я поверила.

Помнишь ли, Миша? Я и сейчас невольно оглянулась — может быть, здесь этот шмель, может быть, он согреет своим жужжанием твой долгий сон. А пока я просто буду писать тебе письма — как жаль, что это не пришло мне в голову прежде!

Обнимаю тебя.
Твоя Маша.

2.

Здравствуй, Мишенька!

У меня такие удивительные новости! Но прежде чем расскажу их тебе, я вот еще о чем подумала... Наверное, зря я не сказала тебе тогда, каким трудным был для меня этот переход. Он ни для кого не бывает легким, разве что для удивительного нашего Максимыча. Но, сам посуди, когда умираешь от истощения и побоев в промерзлом бараке, среди ненависти, безразличия и грязи, все дальнейшее будет уже облегчением. Я немного даже завидую ему: я умирала в больнице, на чистой простыне (ну, бывали и грязнее), за мной все-таки ухаживали... Видишь, мне не дано было такого перехода, как ему, значит, мне это было не по силам. Или не нужно — но мне-то кажется, что так было бы легче.

Зато он встретил меня и провел, чуть ли не за руку, долго и терпеливо, через все, что было по пути. Некоторые его тут называют «могу-

чим воином», а меня смущают эти слова. Это вы, мужчины, привыкли говорить о войнах. Помнишь (а может быть, тебе сейчас это снится?), как мы провожали тебя на фронт? Сколько народу было тогда в родительской нашей квартире, и все пили, и пели, и о чем-то рассуждали, и видно было, как не терпелось мужчинам прикоснуться к этому великому для них слову: «фронт». А ты был в новенькой, с иголочки, офицерской форме, только после выпуска, и то и дело оглядывался в зеркала на свои погоны. Если совсем честно, форма тогда не очень ловко на тебе сидела.

А помнишь, как я, глупая девчонка, вздумала дразниться: как это ты, человек таких прогрессивных взглядов, будешь теперь «ваше благородие»? И ты долго, с таким жаром стал говорить мне о судьбах славянства, о пангерманской угрозе, о том, как должны отойти на второй план все наши политические пристрастия, и о том, как в огне войны родится новая, счастливая, демократическая Россия... Помнишь? А я ведь только шутила и дразнилась, мне просто было досадно, что я так долго не увижу своего родного брата, что его теперь поглотила какая-то огромная и чужая всем нам зверюга, которую почему-то звали словом «фронт», и о которой писал наш Поэт: «с галицийских кровавых полей». Вот с тех пор мне не хочется говорить о войне.

Мне проще говорить не о войне, а о саде, где растет столько всего (не случайно и Он постоянно показывал ученикам то смоквицу, то виноград, то еще что-нибудь). Рост отнимает много сил, ему еще нужно состояться — вот на то и есть садовники. Можно, конечно, сказать, что они воюют с сорняками и вредителями, но мне проще назвать это по-другому: они помогают нам расти. Вот и Максимыч такой, и даже странно называть его моим земным мужем.

И я тоже была зернышком в этом саду, в черной, уютной почве. Он помогал мне прорасти, это было трудно, действительно трудно — ты словно раздвигаешь эти глыбы, наваленные на тебя твоим собственным прошлым. Да что прошлым: твоим собственным «я»; и вот оно мучается, кричит, требует своего и не хочет ни с чем расставаться, начиная с этого больного, старого тела, — так зерну надо перестать быть зерном, скинуть собственную твердую оболочку, чтобы нежный и хрупкий росток смог пробиться к свету.

Ты видел столько смертей, Миша, на двух мировых войнах. Скажи, это правда, что молодые умирают легко? А в старости цепляешься за это никчемное, уставшее тело, и точно так же — за привычки своей души, заскорузлой, закопченной. Трудно, я знаю, поэтому некоторые уходят от этого труда — кто в сон, как ты, а кто...

Знаешь, Миша, а ведь мамы нет с нами. До Последнего Дня ничей выбор еще не окончателен, но мамы сейчас с нами нет. Для меня пока что совершенно закрыт ее выбор: она его сделала, и я не знаю, почему он был именно таким: не быть с нами. Ты помнишь, какой потерянной она была тогда, вечером, когда мы провожали тебя в армию? Мне трудно и больно вспоминать ее, и как может быть иначе... Может быть, когда настанет День, все станет ясным и простым, боль растает или сменится радостью, но пока мы только готовимся к этому Дню и ничего не знаем наверняка. Что-то сломалось в ней, что-то умерло еще тогда, на земле, задолго до тела, и вот — ее нет с нами. Может быть, она вернется. Может быть.

А ты вот спишь. Ты с нами, тебе только надо очнуться, только захотеть расти. Пусть тебе снится что-нибудь светлое и трудное, потому что именно таким и будет твой рост.

Отец зато с нами. Он так изменился, его и не узнаешь... Но что я говорю, ты сам увидишь, когда проснешься! Мы нечасто встречаемся с ним, но столько, столько пришлось нам переговорить и перемолчать вместе, ты даже не представляешь. И вообще, здесь встречается столько людей, которых никак не ожидаешь увидеть. Например, здесь Нионов — и знаешь, мне было легко встретиться с ним. Мы знали, что стояло между нами в прошлой жизни, и потому мы смогли найти те слова, которые примирили нас. Ты, наверное, не захочешь сначала видиться с ним, но... Знаешь, мне кажется, что мама именно потому не с нами, что она опасалась встретить здесь людей, с которыми не хотела бы встречаться. Это нередко бывает, что люди замирают на пороге и поворачивают назад только потому, что компания кажется им неправильной. Мне не хотелось бы так думать про нашу маму, может быть, у нее было что-то другое, я просто не знаю.

Но я потом доскажу, а то письмо выходит очень путанным, мне так много хочется сразу все тебе сказать!

Новости у меня вот какие: мне позволили стать наблюдателем. Это первая, совсем еще ученическая ступень. После наблюдателя можно будет стать помощником, а затем, может быть, даже хранителем. Наш Максимыч — хранитель. Избранные хранители становятся стражами, а дальше я точно не помню, дальше уже в основном те, кто были рождены ангелами — людям не дается этот труд, у них другие способности, другие умения. Зато и ангелы нам в чем-то уступают, так уж оно тут устроено.

Но это, ты сам понимаешь... мне еще и наблюдателем только-только предстоит стать! В общем, как в том забавном фильме про Золушку: я не святая, я только учусь. Ты же помнишь, какой я иногда бывала занудой и зубрил-

кой. У тебя вообще ужасно бестолковая сестра! Можно сказать, не слишком-то повезло той, которой я досталась, но об этом в другой раз.

Вот разбередила воспоминания и теперь снова вижу тебя в армейском мундире, с золотыми погонами. Ты тоже хотел стать хранителем нашей страны. И никто тогда и подумать не мог, какой груз ложится на мальчишеские плечи с этим блеском: прапорщики, подпоручики... Славные, смелые мальчики. Отец так гордился тогда, что будет в нашем роду крестьянского корня настоящий офицер, дворянин, а я даже не знаю, собирались ли вам давать дворянство, как давали офицерам мирного времени, но не в том ведь дело! А мне было все-таки жаль, что юристом ты так и не успел стать. Мишка, вы тоже были хранителями, просто вы не родились ангелами.

Может быть, ты потому и заснул, что очень-очень устал там, на земле? Добрых тебе снов, Мишка!

Твоя Маша.

3.

Мишенька, ты, наверное, ждешь от меня рассказа о родителях — да и о ком же еще я могу тебе рассказать? — а я все болтаю про себя, да еще в таком беспорядке. Попробую теперь наверстать.

Я действительно почти ничего не знаю о маме. Конечно, я ждала встречи с ней, но мама ведь ушла сама. Ты же знаешь, хотя мы и не говорили об этом много на земле, что тот пузырек на ее прикроватном столике не был случайностью — она выпила все таблетки сама, целиком. Замучил ли ее ужасный коммунальный быт, или размолвки с отцом, или сгущавшаяся душная атмосфера на пороге тридцатых, или все это вместе — но она ушла сама.

Она сделала выбор, а Он — Он ведь никого не заставляет. Это мы в детстве смеялись над религией, мол, она навязывает нам жуткое ко-

личество мелочных, никчемных правил. Может быть, и так, но Он не принуждает никого, и если человек хочет тихо уйти прочь, никто ему не мешает это сделать. Для меня совершенно закрыта судьба таких людей, даже Максимычу нет хода туда, где живут — или, вернее, умирают после смерти — такие души. Максимыч только говорил мне, что шосствие во ад действительно было и каждый, кто оказывается у его ворот, видит протянутую руку со следами от Креста. Ведь та суббота, когда после Креста Он спустился за душами людей, она всегда остается с нами, как и то воскресенье, когда Он победил смерть. И та крестная пятница тоже, так что каждый делает свой выбор сам.

Ой, извини, я знаю, что ты всегда не любил этих «пововских сказочек», как ты их называл, но я просто должна постараться тебе объяснить хоть что-то про маму. Но сама я, как видишь, знаю очень и очень мало: она ушла от нас летом земного 1930 года, отец пережил ее на шесть лет и скончался от инфаркта, да, пожалуй, в этом была огромная милость к нему. Не пожелала бы я ему пробыть на земле еще два или три года... Впрочем, это знаешь и ты сам.

Больно и странно, что мамы нет. Мне остается только просить за нее и надеяться — но я бы не стала писать ей письма, как пишу тебе. Я не знаю, как и о чем с ней говорить, и если когда-нибудь она придет к нам, сюда, это будет огромный труд — научиться заново разговаривать с ней. Я знаю, что не поскуплюсь ни на что, главное, времени нам тут не приходится считать, но я не могу пройти ее часть пути — только свою собственную. И пока я продвинулась не очень далеко — я просто подвела черту подо всем, что было в нашей земной жизни, и сказала себе и, может быть, ей: «Да, это было, и этого больше нет и не будет никогда, мама. Мы больше никогда не будем

обижать и мучить друг друга». Я знаю, что этого мало, ужасно мало... но ведь и без этого нельзя.

Отца я повстречала здесь очень скоро — да и могло ли быть иначе, если наши с ним и с мамой отношения и были самыми большими моими глыбами, каменными такими, придавившими нас с самого-самого детства. Ну не выходило у нас толком ничего, ты же помнишь! Иной раз и слова в простоте сказать друг другу не могли. И вот он вышел ко мне, стройный, спокойный и очень грустный: «Ты пойми, доченька...» Я так ждала от него этих слов, с самого, наверное, детства, и когда дерзила, и когда обижалась. И тогда в ответ на эти слова я бы нафырчала и нахамила, а потом сама бы ревела в подушку и терзалась невозможностью поговорить, но теперь я смогла их услышать — ведь как бы иначе пробраться мне к свету? Я ведь и его не отпускала, пока не развязала этот узелок. И теперь... Я ведь и сама мать, Мишенька. Но о встрече с сыном я расскажу тебе в другой раз.

«Да не зайдет солнце во гневе вашем» когда еще писано, я не сразу поняла смысл этих слов, когда их прочитала. А теперь вижу, как внезапно заходит наше солнце, и остается один гнев, и тащим его на себе годы и десятилетия, потому что не с кем уже бывает примириться.

Но теперь у нас с папой это получилось — и так стало легко! А папа, представляешь ли, увлекся своими предками. Помнишь, как мучался он на земле, что мало осталось в нем от исконного быта, от заволжской суровой жизни дедов и прадедов. Ведь еще дед наш Михей писался «государственным крестьянином», помнишь, и в купцы-то определился, лишь когда пароход стал гонять из Нижнего в Рыбинск, крестьянам пароходами владеть не положено. Но древлего благочестия держался твердо: моленная

в доме, все посты да праздники блюдутся строго, против обычаев ничего не творил. Разве что сына, нашего отца, выучил по коммерческой части — а значит, и одежду пришлось ему переменить, и нравы.

Так и перебрался папа в Москву, а торговая жизнь в белокаменной с благочестием-то не очень совместима. Главное, не сумел он своих детей — нас с тобой — воспитать в древней вере. Благо, дед Михей того уже не увидел. Мы-то и вовсе всё отрунули сразу, едва выйдя из младенчества, не крестились ни двуперстно, ни триперстно, а папа сколько раз, бывало, отсылал денег на Рогожское, да в тайные скиты старообрядческие — мы и слыхом не слышали о том. У самого до лестовки руки редко доходили, так наказывал молиться за грешного Антипа «со сродники» — и ведь вымолили его, выходит. А может, и нас тоже.

И вот теперь встречается он с теми молитвенниками, с дедами и прадедами, расспрашивает их про старозаветную жизнь, да рассматривает книги, сличает, уточняет... Какое, оказывается, поле деятельности! Мы-то думали в слепоте своей, что они тупые, узколюбые ретрограды, неспособные воспринять новых идей, — а оказалось, они положили свои жизни на то, чтобы сберечь старину, не растерять ее в погоне за модой, как мы с тобой, сохранить свою свободу и от государства, и от мирской молвы, по-нашему — общественного мнения.

Умные люди там, на земле, изобретают сложные слова: «никонианство», «сергианство». Я не сильна в них. Я просто вижу, что перед Церковью вечно стоит тот же выбор: или идти на компромисс, подчиняться требованиям власти, наглым и порой безумным, и так сохранять свое присутствие среди людей за счет чистоты, или уходить в леса

и на кухне, чтобы хранить чистоту и независимость, но только втайне от людей, для самих себя. Что лучше, не знаю, может быть, нужно и то, и другое, а может быть — что-то среднее, такое трудное и непонятное. Но не буду много тебе говорить о церковном, ты не любишь, я ведь на самом деле о папе.

Так бывает забавно смотреть, как разбирают наши прадеды особенности своего бывшего устава (здесь-то все иное), сами ищут ошибки в том, что отказывались изменять при жизни. И папа с ними заодно, вот бы кто подумал!

Знаешь, родство ведь наполняется тут новым содержанием: ты не привязан к этому человеку узами привычки или закона, ты не просто делишь с ним комнату согласно прописке: куда же вам было друг от друга деваться? Теперь ты свободно выбираешь общение с ним — и в нем вдруг расцветает для тебя такое, о чем ни ты ни он прежде и не подозревали. Вот ведь какое бывает пиршество!

А Максимыч, кстати, подыскал мне правнучку в подопечные. Знаешь, как хотела я тогда опекать и наставлять Антошеньку, своего сына, когда только попала сюда, как рвалась и металась, как пыталась каждую ночь пройти в его сны — и ничегошеньки у меня не получалось. Разве что приснюсь ему иногда. А теперь вижу сама: правильно меня не пустили. Я бы лепила из него то, что хотелось бы мне, я бы отнимала его свободу. Кто ж тут позволит такое! И когда пришло время нашей встречи, по земному времени не так уж и давно, мне снова пришлось очень и очень нелегко. Мишка, тебе бы проснуться поскорее — ведь и на тебе завязано немало узелков, распутывать-то их сколько!

Но я о правнучке. Она родилась уже после моего перехода, я ведь и внучку Сашеньку застала совсем малышкой.

Правнучку нашу с Максимычем зовут Надежда — какое прекрасное имя! Это дочка Саши, единственная — ну вот что ж мы наделали, рожая все по одному ребенку! Поток ведь, когда сужается, бурлит, выходит из берегов, так оно и в нашем роду пошло. Хорошо, хотя бы Антон родил двоих, а ты, Мишка, хоть и нахулиганил в свое время, а в этом отношении молодец: у тебя, оказывается, пятеро, только ты не всех пока знаешь.

Наденька — славная девочка, уже замужем, но пока без детей. Максимыч доверил мне быть при ней наблюдателем — я сама ничего тут не решаю, только буду смотреть, что происходит с ней, что-то подскажу Максимычу, о чем-то попрошу. Он тоже не железный, знаешь, сколько народу помнит и просит его! Вот бы никогда не подумала — о нем же никто не написал, ни в какие святцы его не внесли. А вот оказывается, след он оставил на земле изрядный.

Даже странным может показаться, что мне поручили именно ее. Да, она моя правнучка, она немного похожа на ту взбалмошную девчонку, которой была когда-то я сама. Ты же помнишь, Мишка! Наверное, именно поэтому. Может быть, если бы выбирала я сама, то выбрала бы ее маму — мою внучку Сашу, которую я еще застала на земле. Но Саша уже взрослая, ей нужен, наверное, кто-то поопытнее и посильнее меня. А совсем юной девочке и я, наверное, смогу пригодиться.

И еще, Максимыч заметил вокруг нее какое-то странное шевеление, говорит, надо бы повнимательней приглядеться. На самом деле, конечно, он просто хочет меня научить — ведь после наблюдателя можно стать помощником, а некоторых из помощников даже берут в хранители. Это Максимыч махнул через три ступени разом, ну, так

он и на земле потрудился для этого немало, а обычно это занимает долгие века земного времени.

Видишь, я просто не привыкла сидеть без дела. Трудно женщине, когда не надо ни о ком заботиться. Помнишь ли ты — конечно, помнишь! — весну семнадцатого? Ты приехал тогда с фронта, с заломленной фуражкой, с красной розеткой в петлице, молодой революционный офицер, и все было так неопределенно-прекрасно, и открывались такие перспективы — а я смотрела на тебя, присевшего на диван на пять минут, да так и свалившегося в беспокойный сон, и редела от счастья, что любимый брат со мной, пусть и пахнет чужой враждой, и теперь можно приготовить тебе чистое белье, непременно мне самой, а не Груне, и постараться купить хорошего кофе, и напечь булочек. Такими тогда неважными и далекими казались мне все эти «до победного конца» и «учредительное собрание», и о чем там еще говорил ты с таким жаром, в сравнении с этим бельем и булочками. И знаешь, я, кажется, была немного права.

Обнимаю тебя,
твоя Маша.

4.

Ну вот, Миша, я начну тебе рассказывать о Наде. Все равно получится не о ней, а больше о нас с тобой и прежде всего обо мне: так уж оно выходит, что, всматриваясь в ближнего, мы ищем в нем свое, а не его лицо, решаем свои собственные задачи. Это не страшно, лишь бы не за его счет, но чтобы стать хранителем (как мне до этого далеко!), надо научиться иному. Трудно, правда? Но все равно лучше всматриваться в ближнего, не закрывать глаза, а то можно и уснуть, как ты. Я знаю, что спящие часто перебирают былые обиды и ошибки и кажутся им, что ничего уже не исправишь. А ведь в этом-то и есть самая главная их ошибка. Прошлое не изменишь — но оно уже исправлено за нас и ради нас, нам остается только это принять и признать. Не у всех получается, многие хотят сами: мое, дескать, прошлое.

Я как-то не особенно приглядывалась к Надюше прежде, а теперь уж точно придется. И ты знаешь, смотреть приходится не только на нее — на весь наш род. Ну да, все мы слышали, что «сын за отца не отвечает», даже те, кто думает, что Усатый сам это изобрел. Не отвечает, это понятно. Но чьи в нем гены, чье воспитание? Кто передал сыну его собственное тело, его дом, его страну? Вот и выходит, что все мы всегда остаемся детьми, внуками, правнуками — даже когда пытаемся перестать ими быть, и в особенности именно тогда.

А мы-то уж как пытались! Ты смотри: отец наш продолжил, что делал его отец, и мать наша точно так же. Да, у них получалось совсем по-другому, а после революции и вовсе купеческому сословию настал конец, и работал отец счетоводом в каких-то конторах, а мама то продавщицей, то еще кем придется, но это внешнее. Так уж у них сложилось. Мы с тобой, Мишенька, с самого начала решили: у нас будет иначе. Мы выучимся, получим прекрасные, нужные стране профессии, будем работать на благо своего народа и всего человечества. У нас тоже не слишком-то вышло, ты знаешь, но мы первые в роду начали эту цепочку: жить совсем не так, как родители. Словно бы доказывать им, какими низкими были все их привычки, неверными, все их идеалы. Скажешь, нет?

Сама я, как ты знаешь, мало чего добилась в жизни: как тогда, на первой войне, пошла сразу после гимназии на медицинские курсы, и казалось, что это только временное, только сейчас облегчить немножко страдания наших раненых солдатиков — а вышло это занятием на всю жизнь. Я ведь учительницей пробовала работать и библиотекарем, а не очень-то получалось. Зато вот это: «Сестра, скальпель! зажим!» — оно так и пристало ко мне, тут

я была на месте. В медицинский поступить не получилось, с моим-то происхождением, но оно и проще: кому-то надо и скальпель подавать.

А что Антон? Как стремился он выбиться в люди, каким тяжким казалось ему это клеймо «сына врага народа» (а ведь все-таки не посадили меня, и его не отправили в детдом — значит, нам это было бы не по силам), как карабкался он вверх, ты, наверное, и сам помнишь. Учился старательно, спортом занимался, как мог, с парашютом прыгал. Оттого и на фронт уходил он, хоть и мальчиком совсем, а охотно, бестрепетно (ты к тому времени погиб, это было уже в 43-м). Его и пули пощадили: вернулся орлом, гвардии сержантом, орден да три медали, две нашивки за ранения. Такого попробуй в институт не прими. Тем более, тогда с кадрами плохо было, а страну восстанавливать надо. Так он и стал у меня инженером, со временем и в партию вступил. Меня, глупой старухи, стыдился немного, хотя всегда помогал. Но больше строил Страну Советов, после XX съезда и в партию вступил, когда Максими́ча нашего посмертно реабилитировали.

Где он только не перебивал — Сибирь, Заполярье, даже в Африку его один раз отправили налаживать там что-то для братского социалистического режима, в Эфиопию, кажется. Это уже после моей смерти было, так что я точно не знаю. Так и остался с пламенной своей верой в настоящий, несталинский коммунизм, да не дожил до распада Советского Союза всего-то несколько месяцев.

Ой, Мишка, да ты же не знаешь этого ничего... Прости, я иногда забываю, что ты дремлешь. Ты ведь не слышал даже, что вторая война закончена. Для тебя в твоих снах, наверное, все остановилось на том жарком июльском полдне 42-го года, в степи, среди звона цикад. Я ведь видела

твой переход, Миша. Чужое прошлое тоже приоткрывается нам иногда, если человек нам действительно дорог, если мы можем это вместить.

Так что я видела это: пыльная степная дорога, по ней бредет десятка три бойцов и командиров, тащат винтовки, кто-то даже и пулемет. Главное, полковое знамя с вами. Твой стрелковый полк был разбит, и немецкие танки прорвались дальше (ты извини, я в военной вашей терминологии не понимаю ничего), им было совсем не до того, чтобы вылавливать в безводной степи вас, одиночек. Значит, у вас был шанс дойти до своих.

А потом белесое небо загудело. Это звено «мессеров», возвращаясь с задания, вспомнило, что не весь боезапас еще расстрелян — не лететь же с ним на аэродром! Я видела веселое, молодое лицо того немца, который прошелся очередями раз, и два, и три, не надеясь даже попасть в ваши фигурки, раскиданные в ковыле. Он был совсем зеленым, Мишка, ты не сердись на него — для него это было что-то вроде стрельбы в тире по спичкам, попадет — не попадет.

Тебе раздробило ногу. Лекарств уже не было, и носилки было делать не из чего, и воды оставалось мало. Они бы просто не дошли, если бы ты согласился, чтобы они тащили тебя. Ты принял правильное решение, командир. Ты передал командование старшему лейтенанту, отдал ему документы и ордена, ты даже спорол петлицы, чтобы не знали они, кого найдут. Ты не оставил себе воды — только наган.

Ты выстрелил, когда они отошли версты на три и не могли расслышать выстрела. Ты был прав, Мишка, я тебе как медсестра говорю: не было у тебя шансов с таким ранением в степи. Потеря крови, обезвоживание... Два дня мучений, самое большее. А если бы тебя прежде того на-

шли немцы — ты уже знал, что тебя ждет. Пусть все военные тайны, которые ты знал, перестали быть тайнами еще позавчера, когда ваш полк перемололи в крошево, но ты понимал, что можешь не выдержать допроса. А потом бы у тебя все равно не было шансов — ты уже знал, что бывает с ранеными пленными. Твой выстрел был мужеством, Миша, а не трусостью. Тебя не осудят за него, я знаю это точно.

Я только не совсем поняла, о чем ты шептал тогда сам себе, перед тем как нажать курок: «Вот если бы еще тогда... Машка, прости!» Мне не открыта та твоя страница, я же говорила, что нам дано знать лишь то, что мы можем принять как свет. Может быть, ты сам расскажешь мне об этом, а если нет, то, значит, и не надо.

Мишка, но зачем же ты уснул? Ты бы увидел, «как русская пехота штурмует Бранденбургские ворота», это один замечательный поэт написал, Тарковский, тоже фронтовик, и твой племянник Антон был среди них. Ты бы увидел мир и ликование на улицах Москвы. Ты бы увидел, как еще через десяток лет стали валить по всей стране памятники Усатому, как возвращались домой те, кто сумел там выжить, как поминали тех, кто не смог. Ты бы увидел так много... А теперь тебе будет труднее знакомиться с собственной страной, она так изменилась! Я ведь наверняка не сумею тебе всего рассказать так, как увидел бы ты сам. Меня всегда поражало твое умение в немногих словах назвать главное.

А я пока что просто немного расскажу тебе о нашей семье. У Антона и Оли родилась дочка Саша, моя внучка. Чутьочку успела я побаловать ее на земле — ей было всего восемь, когда умерла я. Сашка... Она вышла совсем, совсем иная, чем Антон. Пошла она по гуманитарной

части, в историки, занималась древними шумерами (был, оказывается такой народ) — только бы подальше от всей этой коммунистической трескотни. И я ее понять могу: представляешь, когда она в своем академическом институте однажды понесла прорисовку какой-то своей древней таблички на шумерском языке на копировальный аппарат, ей нужно было получить визу в первом отделе (ну, ты понимаешь, что у них там за отдел). Вот повертел в отделе товарищ табличку в руках, еще не расшифрованную, да и говорит: «А составьте-ка краткое резюме текста, чтобы мы убедились: никакой антисоветчины!»

Не мудрено, что она и на самом деле антисоветчину (так у них это называлось) стала перепечатывать да передавать. Антон мой, как узнал, чуть не проклял ее — хорошо хоть, в те времена за это уже и не сажали. Дочку Наденьку она родила как раз незадолго до конца всего этого безумия, с мужем они быстро разошлись, потом она снова вышла замуж, но и в тот раз неудачно. В общем, росла Надюша без отца.

И выросла спокойной, практичной девочкой, пошла по коммерческой части (в основном под давлением мамы, тут уже становилось видно, что купечество в стране снова появится). Вот так и замкнулся круг: праправнучка купца Антипа Раменьева торгует в столице каким-то диковинным товаром, я в этом совсем не разбираюсь. Что-то электротехническое, ты бы куда лучше моего это понял. Но, конечно, не за прилавком стоит, а называется это у них теперь «фирма», «офис», «проекты» — они что-то такое поставляют, монтируют по всей стране и потом обслуживают. Папа, надо сказать, сам никакого интереса не проявил — ну не по душе ему эта коммерция, и только. Да и мне не особенно интересно.

Но я ведь вот о чем: выходит, что в нашем роду (да и не только в нашем) каждое следующее поколение как будто говорило своим отцам: нет, вы жили неправильно, вы самого главного не поняли, вот я на своем опыте докажу вам это. Такой вот он вышел, наш круговорот — через пробы и ошибки все вдруг вернулось к прежнему. И остановится ли на этом — не знаю. Не думаю, что остановится.

Ладно, Мишенька, о жизни Нади доскажу я тебе в другой раз, а пока что просто крепко тебя обниму. Жаль, что нельзя посылать друг другу сны — а то я бы столько всего тебе показала из нашей жизни после твоего перехода... Спасибо тебе, наш хранитель, — вы погибли тогда не зря, и мы помним это. Спасибо.

Твоя Маша.

5.

В прошлый раз, Миша, я начала с истории нашей семьи, доведя ее как раз до моей подопечной Надюши. Я писала тебе о том, как каждое новое поколение в нашей семье устраивало свою судьбу по контрасту с родительской: только бы не так, как у них, и тогда все обязательно выйдет хорошо! Может быть, и действительно получилось на свой лад лучше? Не знаю. Все равно, конечно, обошлось без молочных рек в кисельных берегах, да и сами мы понимаем, «земную жизнь пройдя до половины», что нет их и быть не может. В земном мире, я имею в виду.

И чего же мы все ищем? Мне кажется, что в основе поисков у всех у нас что-то общее. Может быть, я вижу это совсем по-женски, а только сдается мне, что всем нам хочется быть хорошими и любимыми детьми. Пока мы маленькие, мы пытаемся точно следовать родитель-

ским требованиям и советам — родители учат нас, что есть добро и что есть зло. А потом приходит время подросткового бунта, и мы отталкиваем все эти глупости и начинаем тянуться изо всех силенок к нашему, правильному добру. Определяем его для себя, его насаждаем для других, за него боремся, прививаем его своим детям. А оно ведь им тоже выходит боком, как в возраст войдут. Так, по моему слабому разумению, и пошло оно от Адама и Евы с их сорванным плодом. Мишка, ничего, если я иногда порассуждаю? Я вот философией и богословием всяким не занималась никогда и в высокие материи лезть не буду, но как вижу, так тебе и напишу. Мы ведь друг друга всегда с полуслова понимали.

Нам все-таки очень повезло с детством, Мишка. Помнишь нашу замечательную няню Пашу? Как ласкала она нас, как принимала любимыми — хоть и отругать могла за шалости, иногда и пошлепать, с матушкиного разрешения. Вот этого мы все на свой лад и ищем всю оставшуюся жизнь: чтобы любили, принимали, но и помогали расти, становиться лучше. Мне вот и с Максимычем так повезло, но не всем же попадают такие люди. Уж ты, Мишка, куда лучше моего знаешь, какими разными бывают они, супружества, у меня-то оно было всего одно, а у тебя три официальных. Ты не подумай, я не в упрек — попадись мне кто-нибудь вместо Максимыча, еще не известно, сколько бы у меня их было, с моим-то характером привередливым.

Вот и Надюша моя замужем. Вышла за Антона (надо же, как совпали имена!) четыре года назад, еще студенткой. Тоже, наверное, скорее поиски любви, чем сама любовь. Мама у нее, я тебе писала, кандидат исторических наук, занималась всю жизнь изучением древней Месопота-

мии и борьбой за светлое будущее, причем и то и другое — за пишущей машинкой. Теперь у них, знаешь ли, такие странные стали эти машинки, их называют словами «компьютеры» и «принтеры», они очень ловко всё делают, но наша Саша больше просиживала за старенькой, германской фирмы «Эрика». Когда пришли эти компьютеры, оказалось, что светлое демократическое будущее уже как будто и наступило, зато вот наука ее вдруг оказалась никому не нужна. Надюшка тогда была еще совсем маленькой.

Так и росла наша Надя — мама по ночам доделывает какую-то очень нужную и важную книгу, днем на толкучке торгует дамским бельем, представляешь, турецкого производства! Очень оказалось у них популярно, кто бы мог подумать. Дед наш Михей, наверное, только головой качал, на эту торговлю глядячи (я с ним, впрочем, мало общалась, очень уж он особенный). Маме Саше уже не до дочки было, вертелась она, как белка в колесе, лишь бы ребенок был сыт да одет, — так и запомнила Надя, что это такое, честная ученая бедность.

Как понимаю я ее! Помнишь ли январь восемнадцатого года? Ты тогда был еще с нами, мы все жили в родительской квартире — и теплее, и от бандитов да комиссаров надежнее защита. Помнишь, как рубил дворником топором на дрова дедов буфет, дубовый, резной, — рубил молча, сосредоточенно, как будто сучья со ствола в лесу срубал (мне Максимыч рассказывал, как это делается). Отец не мог на эту красоту топора поднять — а ты рассудил просто: надо греться — и взялся. А я тогда бродила по бесконечному, снежному пространству московских толкучек то со старыми книгами, то с серебряными подстаканниками, то с кружевом фламандской работы — и все удив-

лялась, как мало значат эти произведения человеческого знания и мастерства в сравнении с основным, извечным, чем брюхо можно набить: мукой, крупой, салом.

Им все же легче пришлось, моим девочкам. Они не голодали — я имею в виду, по-настоящему. Хлеб или картошка у них всегда были, нам бы так в восемнадцатом! Их не уплотняли, как нас — помнишь? Когда вторглись эти, с ордером, они, в общем-то, незлые были люди, просто совсем не воспитанные и немного несчастные. Этот их беглый воровато-наглый говорок, эти портянки поперек коридора и самогон, который как-то удавалось им доставать — дядька, что ли, был у них в комиссарах. Помнишь, как выходил этот наш жилец из уборной, застегивая ватные брюки на ходу, и тебе так бросал с гадкой ухмылочкой: «Пжалте облегчиться, ваш-бродь!» Мне он еще и не такое говорил, Миша, просто ты не слышал, а я не пересказывала — к чему?

Я понимаю, это ты тогда из-за всего такого в конечном счете ушел и пропал на два года. Ты просто не мог больше, я видела это. Не знаю, поняла ли Лиза — первая твоя жена. Но это твоя история, о ней я ничего не могу сказать.

У наших девочек такого все-таки не было, они ели досьята и спали в тепле всегда. Главное, их миновала война. Да, у них там опять что-то было, сначала в Азии, потом где-то на Кавказе, я точно не помню, но от них это было очень, очень далеко. А так у них вообще было похоже: и своя революция, и свой Керенский, и большевики, и многое, многое иное — только как будто невсамделишное, в четверть силы, как на масленичном гулянии парни деревенские снежную крепость брали. Вроде и драка, и не без крови, а не настоящее все. Но разве запал не тот же

самый, и боль не та же, и жизнь, она разве другая? Иной раз снежные крепости берут яростнее, чем каменные.

И вот Надюшка, промаявшись в детстве, решила, что пробьется, станет успешной, состоятельной. Оттанцевала свой выпускной в платье, сшитом у маминой подруги на старинной машинке из доставшегося по случаю материала, поступила на экономический факультет какого-то третьеразрядного института — ведь без высшего образования никуда, и экономистам принадлежит будущее. Так ей тогда казалось. До чего правильная была студентка, зануда и зубрилка — даже мне, гимназистке, до нее было далеко. Все хотелось закончить не курс, а саму жизнь на отлично и получить все соответствующие медали. Мама только головой качала: куда катится русская интеллигенция! Куда-куда... от родителей подальше, известное дело.

А на четвертом курсе не выдержала Надька, выскочила замуж за Антошу. Нельзя ведь жить только будущей своей карьерой, так хочется тепла в настоящем, ясного, чистого тепла. Вот и увидела источник в светлом, разумном мальчике чуть постарше себя. Он и вправду хороший, только слишком уж мальчик, и слишком балованный. Да и она, пожалуй, не очень-то взрослая, несмотря на все свои исключительно взрослые планы и серьезность взгляда, — к тому, что семейные отношения надо выстраивать, она просто не привыкла, да и откуда было ей этому научиться? Вот и возникло у нее смешное девчачье представление, что если два человека влюбились друг в друга, то для полного счастья им нужна свадьба, дворец или на худой конец шалаш и немного денег. Ну что же, все это у них появилось: у Антона была даже своя однокомнатная квартира, от бабушки осталась, и какие-то деньги нашлись на первое время, а потом уже Надюша закончила учебу и сразу

впряглась в работу в неплохом торговом доме (или как у них это называется?) и с большими перспективами.

Но тут... Ты же знаешь: проходит год или два, а иной раз и того меньше, и ты вдруг видишь, что вместо волшебного идеала с тобой живет земной человек со всеми своими слабостями и дурными привычками. И вот Антон уже не талантливый молодой журналист, до беспамятства влюбленный в нее, а влюбленный в самого себя лентяй, который ничего не хочет делать по дому, да и на работу устроиться не торопится, потому что подходящую ему никак не предложат.

И что начинается тут? Правильно, поиски любви. Только у вас, мужчин, это часто означает поиски новой влюбленности. Женщина в этом смысле часто оказывается мудрее, она понимает не умом, так сердцем, что новый союз принесет свои разочарования, да и прикипает она к супругу больше, каким бы «неправильным» он ей ни казался. Так что частенько в этой ситуации заводит женщина ребенка — вот и Надя попыталась, хотя для карьеры это совсем ей было не полезно, да только не вышло у нее. Максимыч мне на это с улыбкой сказал: «Да пусть сначала сама немного повзрослеет!»

И ты знаешь, он ведь полностью прав. Сколько их, этих девочек и мальчиков, у которых давно уже есть взрослые игрушки и взрослые развлечения, и по паспорту они вполне совершеннолетние, а не умеют они жить по-взрослому, совсем не умеют и учиться не хотят. И если рождаются дети у таких детей... Ну, у некоторых получается быстро повзрослеть, но не у всех. Знаешь, теперь там, на земле, очень много придумали всяких медицинских штучек и младенцев разводят, как цыплят, в инкубаторах и пробирках — страшно бывает смотреть на такое. И стараются

супруги, у которых нет детей, завести своих, стараются, им создают и пересаживают зародышей, словно зубные протезы вставляют, но выходит далеко не у всех. Зато бывает вот что: стоит бездетной паре усыновить брошенного ребеночка из детдома — и сразу наступает долгожданная беременность, безо всяких врачей. Представляешь? Все-таки дети не детальки на фабрике, чтобы их по своему желанию на станке вытачивать. Не получилась деталька — в брак, лишней оказалась — туда же.

А здесь души таких лишних зародышей сразу становятся ангелами, как и души младенцев, убитых во чреве. Ведь у них нет совсем никакого опыта человечества — они еще не жили в теле. И вот когда встречают такую маму сразу несколько ангелов... Хорошо, что ангелам совсем не трудно прощать.

Но наша Надя о таком пока не думала — не выходит и не выходит, много есть в жизни всего остального. А любви и понимания стала она искать в другом... но об этом я напишу тебе в следующий раз, Миша.

Знаешь, я все вспоминаю, как ушел ты тогда, в марте восемнадцатого, как говорил о том, что после разгона Учредительного собрания вся сущность большевиков стала видна как на ладони и что позор Брестского мира не оставляет выбора... Трудно было тебе сидеть дома, трудно — я знаю. И ты открыл нашу дверь и ушел в потертой солдатской шинели в никуда, но все так поняли — на Дон, долгой, сложной дорогой. Насколько сложной оказалась она на самом деле, я и по сю пору не знаю — мне ведь очень многое пока не открыто.

А пока что я крепко обнимаю тебя, мой бесконечно дорогой брат.

Твоя Маша.

6.

Я все пишу тебе о Наденьке, Миша, и ты, когда прочтешь, можешь подумать, будто у нас здесь и дел других нет, кроме как подглядывать за родными и близкими, оставшимися там, на земле. Это, конечно, совсем не так, хотя в древние времена люди, остро чувствуя эту связь, почтили своих предков и прибегали к их защите — ну что же поделать, если они утратили живую связь с Ним Самим, остались им и вправду только предки. Но у нас здесь, конечно, много есть занятий — да ты и сам все это узнаешь, когда очнешься (а я верю, что ты обязательно очнешься от этой дремы).

То, что открывается здесь, трудно было бы описать земными словами человеку, у которого нет пока никакого опыта, кроме земного. Сколько возможностей для творчества, для общения — вопрос только в том, насколько ты

сам готов к этому... Да ну, это всё блеклые, невыразительные фразы!

Я скажу лучше о чем-то конкретном. Вот, к примеру, время: оно не исчезает здесь (да мы и не можем существовать совсем вне времени, как не могли на земле вне атмосферы и земного притяжения), но становится гибким, податливым, отчасти даже подвластным человеку. Ты не просто плывешь в этом потоке, как косяк селетки в океанском течении, ты можешь подняться над ним, как чайка: поток останется прежним, ты можешь качаться на его волнах, но ты можешь и ясно увидеть прошлое, и заглянуть в будущее. Говорят, на земле этой способностью обладали подлинныи пророки, но и то лишь недолго, и смутно видели они всё это — так, наверное, летучая рыба видит небо, солнце и облака, выпрыгивая из воды.

Вообще, ты остаешься человеком своей эпохи, своей культуры, своего языка — но ты больше не ограничен ими, стоит только захотеть и потрудиться, и, как писал Тарковский, «я выберу любое из столетий, в него войду и дом построю в нем». Конечно, если столетие совсем далекое, ко многому придется заново привыкать, но все они тут, ни одно не потеряно.

Кстати, о языке. Ты помнишь, мне еще в гимназии тяжело давались французский и немецкий, а эти древние вообще наводили на меня тоску смертную. Я не перестала быть русской — ты видишь, я пишу тебе по-русски! — но оказалось, что понимать других можно без парадигм и вокабуляров. Ты даже не представляешь, как интересно разговаривать с каким-нибудь средневековым французом, я уж не говорю о совсем древних. Они действительно говорят, ты слышишь звук их слов (ну, или то, что в нашем мире можно назвать звуком), но ты понимаешь их мысль

и чувство, а не значение отдельных слов. Ведь как оно бывало на земле: человек говорит тебе что-то, а ты чувствуешь смысл, и складывается он не из значения отдельных слов. Ну, например, когда тот самый Никонов, главврач больницы, молот мне какую-то чушь про обострение классово-й борьбы и напряженное международное положение, я же знала смысл его слов: «Люби, люби меня! Я одинок, несчастен, я не умею просить, я боюсь напрямую заставить тебя, поэтому я буду подводить тебя исподволь, когда убеждением, когда и принуждением, к тому, чтобы ты любила меня, меня, только меня!» Глупо, правда?

«Послушайте! — Еще меня любите за то, что я умру» — так сказала об этом совсем просто и точно одна девушка, когда ей было лет двадцать, а мне немного меньше. Ее имя — Марина Цветаева, ты, наверное, и не слышал, но она большой поэт, то есть человек, который может назвать то, что ты только смутно чувствуешь, но сам еще не осознаешь. Она сумела — и умерла страшно, темно, покончив с собой в самом начале второй войны. Назвать и прожить — разные вещи... Я тоже только здесь по-настоящему узнала ее стихи, надо же, жили в одном городе, чувствовали так похоже и не встретились ни там, ни здесь. Встретимся ли? Где она? Не знаю.

Но я говорила о языках. Да разве сложнее, чем Никонова, будет мне понять какой-нибудь шумерский, если здесь орган речи — не язык и гортань, а душа? Ты знаешь, я недавно беседовала с одним человеком из Южной Америки, наверное, в наши времена его бы назвали колдуном. Он жил за семь веков до Колумба, служил всяким своим божествам и духам — а ты думал, у нас тут только христиане? Нет, конечно. Истина есть и она одна (прости мне мой пафос), и она в христианстве, но если человек искренне

и всерьез ищет Его, он всегда Его находит, даже если во время земной жизни он так и не услышал правильных имен и названий, если многое делал такого, что Ему на самом деле отвратительно. Да ведь и все мы, если посудить, это делали без числа. Ты представляешь, они там принесли в жертву детей, чтобы отправить их послами в мир духов — в наш мир, где мы сейчас. Они думали, что так совершают великое дело, угодное духам и благотворное для самих этих детей. Он был искренне поражен, когда узнал, что духам это совершенно не нужно... но все-таки был рад, что детей этих, добровольно (обязательно добровольно, хотя и под жестким порой давлением!) шедших на смерть ради процветания родного племени, и вправду ждало благое посмертие. Куда лучше, чем жуткая по нашим меркам земная жизнь, которую они якобы продлевали своим сородичам.

Разве не похож этот колдун на большевиков? Да отчасти и на тебя самого, когда летом 20-го года вдруг распахнулась дверь нашей столешниковской квартиры, и вошел красный командир, уже без погон, а с какой-то невообразимой геометрией на рукавах, и гимнастерка сидела на тебе так ладно на этот раз, и снова ждал тебя фронт — на сей раз польский. Ты же верил, действительно верил, что это возрождается Россия, что снова у нее есть твердая власть и армия, и значит, надо ее защищать, отстаивать ее исторические рубежи от вековечного западного врага. «Кому, как не белым, за Белую Русь» — так назвала это Марина.

Думаешь, начну тебе сейчас доказывать, как был ты неправ? А вот ни за что. В чем каждый из нас был неправ, мы узнаем сами про себя. А вот у других здесь все больше различаешь правоту — пусть даже неполную, пусть болезненную и обиженную правоту. Но ведь и она — права.

А помнишь нашего папу? Требовательный, но какой-то робкий, он так терялся, когда жизнь шла не в соответствии с его представлениями о ней, а с детьми она ведь почти всегда не так идет. Наши шалости, наше нежелание представлять игрушки по местам или соблюдать правила поведения за столом не просто огорчали его — они его выбивали из колеи, он замыкался в своем кабинете, называя это «делами» (да и дел у него было очень много, это правда). Он все время был где-то рядом, но почти никогда с нами. Знаешь, я запомнила на всю жизнь тот зимний день, когда он сам прокатил меня на санках до Петровских ворот и потом по бульвару, а вернулись мы по Дмитровке — и что это на него нашло, удивлялась я тогда.

Я так и запомнила: скрип снега, маленькие блестяшки на нем, словно упавшие осколки звездочек, и нос покусывает не то шарф, не то мороз, и широкая, веселая папина спина. Нас обгоняли извозчики, и один даже остановился: «Барин, извольте!» — а папа рассмеялся: «Свою Марусю сам домчу!» Я была совершенно счастлива, я думала, так теперь будет всегда. Уже здесь я узнала, что на самом деле у них был трудный разговор с мамой, это был почти разрыв, и она рыдала в спальне, а папа в каком-то горячечном бреду велел одеть младшенькую и повез меня на санках. Может быть, это катание и в самом деле сохранило их союз — ему просто необходимо было физически оказаться в роли главы семейства, который везет всех на себе. Да и проветриться тоже.

А мама? Она тоже любила всех нас, и ей так было важно все держать в своих руках, под контролем, вплоть до последней мелочи, ты же помнишь. Хорошо, что у нас была няня. Может быть, почти у каждого человека бывает много таких моментов полной, безусловной любви именно

с мамой или хотя бы с няней, но гораздо реже с отцом — поэтому Его и привыкли называть Отцом, а не Матерью?

Да, Мишка, видишь, я согласна, что на Бога мы обычно переносим наши представления об идеальном отце. Только для тебя это почему-то доказывало Его отсутствие, а ведь на самом деле это говорит лишь о том, что и этот мир, и норма человеческих отношений, и наше собственное естество ведут нас к Нему и заранее подсказывают конечную цель этого пути. Разве не так?

Ты вот всегда говорил, что в церковь ходят люди, которым не удалось найти свое место в настоящей жизни, слабые люди. Я не стану возражать; в церковь приходят очень разными путями, но таким — особенно часто. Идут туда в поисках безусловной и требовательной любви, в поисках настоящего Отца. Сильным людям, вроде тебя, это просто бывает не нужно, а если порой и нужно, вы находите какой-то свой выход или учитесь обходиться без этого.

А мы не смогли: наша Надюша или вот я сама. Ну вот я опять о Наде, я же обещала тебе рассказать, что было потом у нашей Надюши, когда замужество приелось и первая влюбленность прошла. У Нади ведь вовсе не было почти никакого опыта настоящих взаимоотношений с собственным отцом, не говоря уж об отчине. В муже она во многом и искала такого заботливого папу, но он, я тебе писала, и сам еще по сути маленький мальчик. Так что следующий ее шаг был туда, под каменный свод, где на виду у всеведущих икон добрый, но требовательный батюшка прижимает к своей широкой груди и говорит что-то очень нужное и важное...

Человеческое, скажешь? Слишком даже человеческое? Ну да, и тут не поспорю. Мы-то кто, даже в нынешнем нашем состоянии? Не ангелы. Мы начинаем с очень разных

своих самостей, кому нравится пение, кому — благообразный батюшка, кто увлечен историей, кто иконописью. Да, люди приходят в храм и говорят, иногда буквально: «Хочу стать святым». Но при этом они очень мало понимают в настоящей святости, видишь, я сама только-только начала ей учиться, в основном пока что разбираю накопленные завалы, меня и к Наде для того в основном и представили — не столько ей в защитники, сколько мне самой в назидание. Ну вот, а тут приходит такая девчонка и говорит: «Стану святой», как в былые годы нам «пятилетку за три года» обещали. Ты человеком сначала стань, настоящим, совестливым, внимательным, — вот и будет твой первый шаг к святости. Ведь и Он стал человеком, с этого все началось.

В общем, в церкви тоже не все просто у Нади. Прошла ее первая пора, та же влюбленность, когда и правда летаешь на крыльях, что твой ангел, — это у многих так. И начинается пора труда, тяжелого, но радостного — если всерьез. А у многих все на долгое время на том и заканчивается. Думают, что успеют — да успеть-то нетрудно, если вечность впереди. Но ведь и в воду когда прыгают, так стараются войти под правильным углом, а тут — в вечность! Упадешь плашмя — не вынырнешь. Такое бывает.

Миша, а ты ведь не знаешь, когда я-то начала в церковь сама ходить. Мы хоть с тобой и спорили о Боге, но я больше слова Максимыча пересказывала, я сама тогда почти и не ходила. Мой путь всерьез, он начался в 40-м, даже в 41-м в особенности, когда не только за упокой раба Божия Георгия стала молиться, но и о здравии воина Михаила и многих, многих иных... Знаешь, как звучало это под сводами храма, как ловили мы тогда эти имена в батюшкиной скороговорке: «воинов Ивана, Василия, Михаила,

Степана, Аркадия...» И сердце так замирало, будто было то весточкой: «Мой, мой жив пока». Часто — обманной весточкой.

О Максимыче знала только одно, что нет его на земле. Официально ведь ему «без права переписки» присудили и не сообщали ничего до самой реабилитации. А только видела я сон. Это было самое начало 40-го года, через полгода после его перехода. Снилось мне, что я иду по тоннелю метро, и под ногами рельсы, шпалы, и грязь ужасная, и крысы кишат. И думаю: а что, как поедет поезд? Я же не смогу никуда спрятаться, разве что упасть, чтобы вагоны поверху прошли, только в грязь ложиться никакого желания нет, к крысам-то этим. И вот бегу, задыхаюсь, ноги еле-еле двигаются, только впереди что-то светлое, думаю, может, станция, там меня подберут, наружу выведут. А сзади уже слышен поезд, и не просто шум колес, а пение такое, бравурное, мощное: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» ... Задавят!

Я в ужасе, в холодном поту — и вдруг нет уже никакого туннеля. Я на поляне, светлой, чистой такой, ветерок веет, и трава щекочет ноги босые. А навстречу мне идет Максимыч — в бушлате с номером, весь седой, а лицо молодое, радостное. И вижу я, что не седина это, а сияние.

— Ты что, Маша? — окликает он меня, — ты не бойся. Главное, не бойся.

— Да где же ты? Как же я без тебя?! — кричу я ему в ответ и бежать пытаюсь, а ноги снова не идут.

— Я дома, Маша, — отвечает он так грустно немного, — я с тобой.

Тут я проснулась — и комната была залита светом. Лунным, наверно, только казался он мне солнечным, и ничего я не могла понять. Мне казалось, что мы на прежней

нашей квартире и Максимыч рядом со мной, как бывало, и редела я сама не знаю от чего, но точно, что от счастья. Не сразу даже поняла, что это — комната общежития, что квартиру нашу давно отобрали, а мужа рядом нет и что вставать на работу к половине восьмого... Но ощущение надежного счастья осталось надолго, хотя, казалось бы, чему радоваться? И только потом я стала уже понимать, что это значило: «дома» и «с тобой».

Мишка, заждалась я тут тебя, соня. Вот умела бы я тебе сниться, как Максимыч мне тогда приснился... Может быть, попробую — вдруг получится? А ты уж постарайся меня увидеть!

Твоя Маша.

7.

Миша, ты все дремлешь, и я даже не знаю, когда доведется тебе прочесть мои письма. Но я верю, что обязательно придется, и потому стараюсь и новостями своими делиться, и продолжать разговоры, начатые нами когда-то на земле. Тебе наверняка бы захотелось продолжить их здесь, где нам открыто больше и многое становится яснее.

Я вдруг вспомнила один наш разговор в Москве, еще в самом конце 17-го... Ты опять вернулся тогда с фронта, но на сей раз уже без погон и без красных бантов на своей офицерской шинели, и на все расспросы отвечал только одно: армии больше нет. И вот однажды вечером, когда уже снова ходили трамваи и публика спешила по своим делам, равнодушно огибая крикливые декреты Совнаркома на выщербленных пулями стенах, словно их

это все и не касалось, мы куда-то зашли — это, кажется, был Петровский театр миниатюр. Пел Вертинский: «Я не знаю, зачем и кому это нужно», — и сразу после этой песни ты вдруг выскочил из зала, и я, расчувствовавшаяся от этих пронзительных слов и берущей за сердце музыки, от его глубокого, влажного голоса, я едва успела нагнать тебя на улице. Ты шел молча, быстро, решительно, а я только приставала: «Миша, ну что? Зачем мы ушли? Ведь он так пел, так пел! Это про юнкеров, как их хоронили у Большого Вознесения».

«Да знаю я, — вдруг прорвало тебя, — а он, видишь ли, не знает, кому это нужно! Да ему ведь и нужно первому, всем нам это нужно, чтобы нашлась в Москве хоть сотня, хоть две сотни людей, способных противостоять этим бандитам. Все рушится, всё в распадае, и только мальчики, будущие офицеры, верные Родине мальчики исполнили свой долг и погибли на глазах равнодушной публики, а публика пожала плечами: да кому это нужно? Забросали их грязью, это точно. Так дождется он, ваш Вертинский. Кончилось время манерничанья, а он и не заметил, так будет теперь скоро публика петь хором Интернационал и ни о чем уже не спрашивать».

А я не понимала тебя тогда — но как же ты был прав! Я страдала от бессмысленности кровопролития, я так устала от всех этих выстрелов и лозунгов, так хотелось мне увидеть конец безобразиям — и не понимала я, что именно они, погибшие мальчики, и пытались это остановить ценой своей жизни. А ты был прав. Как жалел ты тогда, что в самый решающий момент оказался ты там, где ничего не решалось, — на исчезающем фронте. Тебя не окзалось с ними — а если бы ты был там, может быть, и вся жизнь твоя пошла бы иначе.

Да, многое проясняется здесь, но пока не все. Я не святая, а только учусь, я тебе уже писала, и потому вижу только то, что могу вместить, пока немного. О чем-то приходится просто догадываться, и наверняка догадки мои неточны и неполны, а какие-то и вовсе неправильны, но это не страшно. Ответ всегда надо искать, и мне хочется делать это вместе с тобой. Как тогда, помнишь, мне совсем не давалась в гимназии математика, и вот я прибежала с задачками и теоремами к тебе, а ты, такой большой и умный, легко и просто щелкал примеры, и объяснять у тебя здорово получалось, я сразу все понимала. А здесь, соня, ты хоть и оказался первым, а все-таки выходишь младшим из-за своего сна. Так что иногда и я тебе могу что-нибудь подсказать. А точнее, попробовать вместе с тобой разобраться в этом — многие вопросы и мне самой не дают покоя.

Я так много писала тебе в прежних письмах о свете, что у тебя могло сложиться впечатление, будто нет никакой тьмы. В каком-то смысле ее действительно нет. Там, на земле, ведь тоже нет никакой самостоятельной тьмы — есть только свет, а «тьмой» мы привыкли называть отсутствие света. У нее нет своего вида и своих характеристик: это всякий источник света отличается от другого, его можно долго и подробно описывать, а вот какой может быть источник у тьмы? Только отсутствие света. Тьму не «затемнишь», как зажигают светильник, ей не поделишься, как огоньком, ее не поставишь на высокое место, чтобы было видно издалека. В этом смысле тьмы нет.

Но разве кто-то на земле из-за этого станет думать, что тьмы вообще не существует или что она не таит в себе никаких опасностей? Как раз наоборот: всякий раз, когда мы зажигаем свет, мы подтверждаем, как опасна и уют-

на тьма, как важно нам от нее избавиться. Это свет надо зажечь, а тьма сама тут как тут, и вот, собираясь ночью выйти из дома, мы заранее позаботимся об источнике света, если не хотим переломать себе ноги. Не так-то просто бывает зажечь огонь холодной, темной ночью... А вот «сделать себе темно» — это проще простого. Закрой глаза, зажми их ладонями — и тьма обнимет тебя среди ясного дня. Тьма для нас на земле бывала привычнее и первичнее света.

Примерно так оно и со злом, Мишка. Мы здесь — в Стране Восхода. Там, на земле, были предрассветные сумерки, а здесь наше Солнце уже поднимается над горизонтом, оно открывает и проясняет нам все, что окружало и пугало нас в темноте. Нам уже не нужно постоянно говорить о Нем — мы просто живем Им.

Но Солнце еще не поднялось высоко — когда это произойдет, настанет День, и тогда не останется ничего, кроме этого света. Пока что есть сумрак (вы, дремлющие, и скрываетесь в нём), и пока что где-то есть тьма. Я не знаю, как видят это другие, кого нет с нами, — например, наша мама. Возможно, для нее это как раз наоборот, закатное время, когда Солнце уже скрылось за горизонтом и начинает сгущаться тьма, но пока еще можно что-то различить, пока еще остаются огоньки слабых свечек — наших молитв за ушедших. Они не заменят им Солнца, они не разгонят тьму, но они хотя бы дадут им крохотную частицу света, а значит, еще один шанс выбраться из этой темноты.

Я часто думаю о том, что будет с ними — с теми, кто не выберется. Нам сказали, что когда настанет День, зла уже не будет. Значит, те, кто выбрал зло, просто исчезнут? Растают, как выброшенные на берег моря медузы, — пом-

нишь, мы видели в детстве в Крыму? Даже такую медузу было жалко, а что уж говорить про любимого и родного человека! Только человек не медуза, он решает сам, его не возьмешь в руки, чтобы выпустить в море. А как бы хотелось!

Мне хочется верить, что мама каким-то образом снова окажется с нами. Он наверняка что-то для нее придумает или уже придумал. Только она всегда ведь может отказать, оттолкнуть его руку — вот такая штука.

Там, на земле, мы много слышали о «вечных адских муках». Мне трудно это понять: разве вечен ад? Вечно зло и страдание? То есть будет какая-то такая поделенная надвое вечность, в одной части которой будет радость и ликование, а в другой — скрежет зубовой, и там будет наша мама? Трудно в такое поверить. Может быть, слово «вечный» означает здесь конечность, безысходность этого выбора? Говорят, в материальном космосе существуют такие черные дыры: время и пространство в них схлопываются, и миллионы лет могут пройти вовне черной дыры, а в ней будет длиться все та же доля секунды. Может быть, окончательные «нет», сказанные Ему, и есть такие черные дыры-души: они уходят навсегда, безвозвратно, светлая вечность уже недостижима для них?

Страшно об этом думать. Хотя для них самих это может казаться раем, правда. Ты представь: если пьяница захочет проводить вечность в океане водки, скупец — среди золотых гор, скандалист — среди склок и раздоров с такими же скандалистами, а развратник — в непрерывном блюде, то им, пожалуй, будет даровано это желание. Погружаясь в свою страсть, они будут постепенно утрачивать память обо всем остальном, черная дыра самое желанное.

Мишка, ты же не о таком гредишь? Я знаю, ты и выпить любил, и по дамской части бывал неводержан, да и вообще мы с тобой не образцового поведения люди, но ты же всегда стремился к чему-то большому и высокому. У тебя были идеалы, ты боролся за них, многим жертвовал, и это не так важно, что идеалы не все оказались правильными. Когда ты уже вышел в поход, можно сменить направление — а ведь многие в поход так и не вышли, в отличие от тебя.

Еще я слышала, что засыпают часто те, кто слишком устал на земле, например самоубийцы (но твой случай совершенно особенный, это было мужественное решение воина, а не трусливое бегство). Таким не хочется никуда идти, они грезят о растворении в небытии, безмыслии, нечувствии — еще, говорят, некоторые восточные религии считают это самым благим посмертием. Если так, то вершина мироздания не человек, а одноклеточная водоросль в теплой водичке. Просыпайся ты поскорей, соня! Здесь так прекрасно!

Мишка, ты, может быть, будешь смеяться над моими высокими словами, но если бы ты увидел хотя бы одного ангела... Да увидишь, когда проснешься, как же может быть иначе!

А вот бесов я никогда не видела и не собираюсь на них смотреть. Говорят, они питаются такими «схлопнувшими» душами — не в прямом, конечно, смысле, у них же нет желудка и обмена веществ. Но они суть тьма, они несамостоятельны, им нужно что-то для роста и даже для самого существования. Типичные паразиты, вроде глистов. Бабкины сказки, отмахивался ты когда-то от этих слов... Но раз распространяется на свете зло, значит, существуют и те, кто его разносит, и такое не под силу людям, сами они бы не справились.

Так вот, я могу ощущать присутствие бесов в жизни земных людей, но я не вижу их лиц (если у них вообще есть лица), не понимаю их языка или логики (если они у них есть). Это тьма, безликая, бессмысленная тьма. Была такая детская книжка, может быть, ты читал своим: «Приключения Карика и Вали». Это про двух детей, которые вдруг сделались крохотными и очутились в мире насекомых. Самое, пожалуй, жуткое, когда представишь себя на их месте, — это невозможность хоть как-то объяснить с этими насекомыми. На злобную собаку может подействовать твой окрик, и с голодным медведем в тайге, говорят, можно мирно разойтись, и даже волк будет признавать в человеке сильное существо со своей волей — но здесь перед ними возникало хитиновое иное, которое стремилось запихать их мерзкими жвалами внутрь своего пищеварительного тракта с тем же равнодушием, с каким оно запихивало туда тлю или кусочек травинки. Вот таковы, наверное, и бесы. Да нет, что я говорю! Человека с медведкой или пауком роднит хотя бы телесность, а здесь пропасть куда больше.

Поэтому я рада, что не вижу бесов, не различаю их, не понимаю. Великие стражи, говорят, могут их видеть и даже разговаривать с ними, но нет ничего такого, что делали бы они с меньшей охотой. Максимыч знает о них гораздо больше моего (еще бы, с его-то опытом), но и он не различает их по отдельности (да есть ли у них эта отдельность?) — просто знает их опасные черты и умеет пробираться сквозь эту тьму, как умелый охотник ходит по ночному лесу с маленьким фонариком. Он заранее чувствует, где надо подстраховаться, куда лучше не ходить — но лесной охотник же не вступает в препирательство с валуном, через который надо перелезть, или тем паче с топью,

которую надо обойти. Просто ищет свою дорогу. Вот так и Максимыч, только он идет не сам — ведет других, еще не совершивших перехода.

Знаешь, когда я стала читать Библию, меня удивило одно обстоятельство: как мало там сказано о бесах! В Ветхом Завете вообще почти ничего, да и в Новом они упоминаются как бы вскользь: вот изгоняет Христос из человека бесов, и он становится нормальным, и уже в общем-то неважно, кто эти бесы, откуда они пришли и куда ушли. Один раз только про стадо свиней рассказали, я так думаю, для иллюстрации, сколько же их в человека влезает и какая это разрушительная сила! Всё внимание — самому человеку.

А ведь послушать иных наших благочестивых бабок, так можно подумать, будто всякая вера и всякая церковная жизнь сосредоточены именно что вокруг них: и столько они пакостей творят, и так на жизнь нашу влияют, и вот зато крестное знамение их отгоняет, и святая вода... Смешно будет идти по ночному лесу, полному незримых опасностей, со всякими «отгонялками тьмы», правда? Нужны только источник света, верная тропа, осторожность, внимание, опыт. А лучше всего, хороший проводник, ну вроде нашего Максимыча.

Ничего, если я немного порассуждаю о высоком, ну, совсем чуточку? Очень уж образ удачный попался, с этой тропой. Как ты узнаешь, что она верная? По судьбе других путников: и тех, кто дошел успешно, и тех, кто пошел иначе и завяз в болоте. Совсем не нужен химический анализ его воды, главное, знать: там болото, туда не ходи. Зато тропу надо знать назубок, в опасных местах — каждый шаг довести до автоматизма.

Что-то у меня так получается, будто я всю ее давно прошла. Ты же понимаешь: на самом деле я на ощупь, еле-еле

пробивалась по ней на земле, спотыкалась и падала — и вот сейчас лишь начала видеть немного дальше и немного яснее, но до завершения пути мне еще очень далеко. Да и есть ли оно, завершение? Есть ли та остановка, на которой мы скажем: ну всё, дальше нам идти некуда, мы всего достигли, впадаем в спячку? Ой, извини, я не про тебя насчет спячки. Я же знаю, что тебе тоже предстоит идти по своей дороге, в чем-то очень похожей на мою, в чем-то особенной. Вот потому я говорю о ней так много и так серьезно.

Сколько я потеряла на земле! Нет, я не о переходе — он ждет каждого из нас, и благой переход — не потеря, а приобретение, хотя трудно это бывает понять оставшимся. Я о тех, с кем я не могу встретиться здесь, на пороге вечности. Нет мамы, я не могу обнять тебя, и еще много, так много самых разных людей не встретила я здесь, и не знаю, смогу ли встретить...

Хорошо, что мы, по крайней мере, можем просить о них — и значит, пока нам это дано, для каждого из них не все еще потеряно. Но все-таки очень важно суметь не потеряться еще на земле, и я так переживаю за Надюшу! Я пока что почти ничего не могу — только к Максимычу обращаюсь, когда необходимо, и учусь сама, чтобы однажды, очень-очень нескоро, может быть, стать таким же бережным и мудрым хранителем, как он. Говорить с ним у меня как-то проще получается, а то с ангелами я пока не часто решаюсь разговаривать — очень уж это непросто.

Я уверена, что ты бы куда быстрее моего смог этому научиться. Да и научись, что это я? Научись и снова обгонишь меня, как бывало прежде, Мишенька.

Обнимаю тебя.
Твоя Маша.

8.

Знаешь, сегодня я побывала в церкви, куда ходит Надюша, — она была на исповеди. Нет, я не слушала, о чем они говорили со священником, — в конце концов, это же их тайна, и мне в нее лезть нельзя. Но кое-что я, кажется, поняла...

Вот ты всегда спрашивал меня, зачем нужна церковь, — и сегодня о том же самом спрашивают там, на земле, Надюшу. В самом деле, сплошь и рядом приходится слышать ей, как и мне: «Бог у меня в душе», «Я могу говорить с Ним в любой момент», «Мне не нужны посредники» ... Нет, ты так не говорил, и я очень это ценю. Ты говорил просто: «Не верю». А то знаешь, в этих разговорах на первом месте всегда «я, мне, у меня», а Он всегда на втором, даже на тридцать втором месте, на уютной такой полочке вместе с курортными сувенирами: захотелось — взял, повертел в руках, потом назад поставил.

Так зачем же нам церковь? Нам — это нам с Надюшей, я не могу говорить за всех. Ну, на самом деле ты прав: чтобы пожалели, чтобы было, куда придти со своими ошибками, чтобы жить стало хоть немного полегче. Еще — снять сосущее чувство неисправимой, неотвязной вины, для того и исповедь. Мы обе с этого начинали, надо же было куда-то спрятать боль, и неважно, велика или мала причина этой боли, мужа у тебя убили, страны лишили, или просто кажется, что никто не ценит и не понимает, — болит-то одинаково сильно. И вот пытаешься спастись, сначала только от своих трагедий или от болота повседневной серости. Кто водкой заливают все это, кто святой водой — да, в самом начале именно так.

И только потом я начинала понимать, куда действительно попала и зачем мне было это нужно. Даже нет, не понимала еще, а просто чувствовала, что без этого никуда, что здесь для меня что-то очень и очень важное, и вот оно начинает понемногу прорастать там, внутри, исподволь, незаметно... Я постепенно выходила на свою дорогу, сама не замечая этого, начинала медленно идти к Невечернему Свету, который не зайдет, не покинет меня, не даст тьме меня поглотить.

А церковь — это сообщество людей, идущих по этой дороге. Я иду по ней сама и только сама. Но некоторые вышли в путь задолго до нас и успели продвинуться очень далеко, они могут подсказать и научить, только вот пройти за меня не могут. Можно ли идти совсем в одиночку? Можно, конечно. Срываться во все пропасти, тонуть во всех болотах и потом все-таки выбираться, можно карабкаться по каменистой обочине, можно упускать все прохладные родники и наткаться на все завалы и в конце концов все-таки выбраться к своей цели — но вместе проще.

Хотя... нет, не всегда проще, ты прав. Люди там разные, и те, кто рядом, — они часто очень, очень неприятные. Да, там, далеко впереди, они прекрасные и светлые, а здесь, рядом с тобой, — ворчливые, тупые, злобные и требовательные к другим, а не к себе. Словом, такие же, как мы, и им с нами по пути. Стадо дикобразов на водопое.

И главное... Ты же помнишь, как мы решили с тобой на заре юности: нет — лицемерию! К чему все эти формальные требования, мелкие придирки: того не ешь, этого не делай, столько перстов и столько поклонов — разве нужно это Богу («если Он есть», — добавляли мы тогда со смехом). Оказалось, что и вправду не нужно. Так и малышей приучают самих одеваться, есть за общим столом, соблюдать правила вежливости. Они ведь порой такие же критиканы, как мы с тобой в свое время: нельзя, а я хочу и буду! От няни, помнишь, иной раз и шлепка за такое можно было словить.

Осознание внутреннего смысла приходит потом, постепенно. И уже никакому воспитанному взрослому не покажется тяжелой обузой, что вилку надо держать в левой, а нож в правой руке и что надо постоянно говорить «спасибо» и «пожалуйста». Сами по себе эти вещи не важны, но что-то очень важное мы выражаем с их помощью: уважение к другим и к себе.

Примерно таковы, как я поняла потом, и церковные правила: они сродни этикету по отношению к Нему и к тем, кто с нами рядом. Форма может меняться, но совсем без формы не будет и никакого содержания: воду можно налить в бутылку или в кувшин, пить из чашки или из стакана, но голыми руками много воды не зачерпнешь, далеко ее не унесешь.

А ведь на самом деле подлинное христианство — это пространство огромной свободы. Каким удивительным

было для меня это открытие: оказалось, что нет никаких форм, которые были бы обязательны для всех и всегда, есть только общая цель и множество дорог, ведущих к ней. Я только уже в церкви увидела по-настоящему, что христианство вовсе не отгороженный от мира закуток, где сидишь и трясешься, как бы не оскверниться (хотя, если честно, у меня самой оно бывало и таким). Нет, это полнота жизни, где отказываешься от каких-то дурных и опасных, от внешних и второстепенных вещей, чтобы хватило времени и сил на главное. Помнишь ли это? «Все мне позволено, но не все полезно, все мне позволено, но ничто не должно обладать мной». Так оно и есть на самом деле, ты уж извини за громкие слова.

Ну, а кто застревает на внешних формах, не задумываясь о сути... Как назвал это наш поэт: «Грешить бесстыдно, непробудно...» — ну не буду я тебе все стихотворение переписывать, сам наверняка его помнишь хорошо. И ведь это все правда, и даже не это самое страшное, а вот что: остерегаться молочка выпить в среду, все иконки с лампадками содержать в строгом порядке — и просто плевать на ближнего и даже на самого себя, не чувствуя в том никакого греха. Лучше уж «бесстыдно, непробудно» — тогда хотя бы ощущение какой-то неправильности есть, а тут лопается человек от сознания собственной набожности... Мы такого вдосыть насмотрелись, верно?

Мы хотели быть сильными, самостоятельными. У тебя вышло, у меня нет — и я очень рада, что не вышло. Ты прав, Мишка, Церковь вообще-то для слабых, зажатых, неуверенных в себе. Сильные и уверенные в ней не нуждаются — может быть, потому иногда и ломает их жизнь, и не знают они, куда деваться от всех напастей, да и от себя самих?

А помнишь, как заканчивается то стихотворение? «Да, и такой, моя Россия,

ты всех краев дороже мне». Наш поэт сказал «Россия», может быть, потому, что для него не так уж и много значила Церковь. Пусть в Церкви, как и в России, есть очень много грязи. Но есть в ней и такое, чего больше нигде не найдешь.

Мы едва тянемся к идеалу, а от нас часто ждут святости, безоговорочной и немедленной. А точнее так: ждут, что мы будем полностью соответствовать их представлениям об идеальной святости, уютной такой, необременительной для окружающих. Вот наивные! Во-первых, настоящая святость обжигает, рядом с ней невозможно оставаться тем, кем ты был. Были бы мы и вправду святыми, они бы нас просто поубивали... или сами бы стали святыми, чего на самом деле мало кто хочет.

И еще, ты подумай про того купчину из стихотворения. Да, мерзко: сначала «бесстыдно-непробудно», а потом сразу к «зацелованному окладу». Это и верой не назовешь, так, какая-то бледная память о вере... Но может, эта память его и удерживала от настоящей бездны? Ну что он: пьянствовал, блудил, обсчитывал и обманывал ближних. Тоже мерзость, тоже губит людей, но... Вот когда отменили комиссары «зацелованные оклады», когда не осталось совсем никаких нижних планок — ты вспомни, куда мы рухнули. По сравнению с Колымой лавка этого рыгающего купчины вполне сносным местом покажется. Может, и вправду там иконка с лампадкой не зря висели?

Знаешь, что я еще вижу на примере Надюши? Я ведь за собой этого и не замечала, да и время было другое, сложное, не до капризов было. У нее, я смотрю, отношения с мужем и друзьями-подругами здорово за последние пару

лет испортились... Хотелось бы, конечно, свалить все это на бесов, да было бы несправедливо: сама постаралась. Ну что поделывать, вот ты представь: рождается у женщины ребенок, так ей уже не до мужа, тем более не до подруг, все силы малышу. И пеленки грязные всюду, и сама усталая, подурневшая, даже как будто отупевшая, но это ведь только на время, сам знаешь.

А тут человек начинает работать над собственной душой, вынашивать ее и вскармливать — это ведь тоже очень важно. Постепенно придет умение сочетать всю свою духовную жизнь с жизнью обыденной, повседневной, а пока ей этому еще только предстоит научиться. Ну ничего, понемногу...

Я тебе начала отвечать на вопрос: «Для чего Церковь?» — уж не знаю, ответила или нет. Но еще ведь спрашивают: «Почему именно эта Церковь, их ведь много?» Знаешь, я не очень хорошо во всем этом разбираюсь, я только знаю, что Истина одна, а заблуждений много. Я знаю, что никакой человек не вмещает эту Истину до конца и никто до конца не понимает другого — вот отсюда и множество этих разных группировок, которые говорят о Боге и о человеке по-разному. Очень часто люди просто не хотят или не умеют понять друг друга, и порой одни из них не просто ошибаются, а всячески настаивают на своих ошибках. Ну как в семье бывает, сам знаешь, а в результате распад и вражда.

Я пришла в ту церковь, которая была ко мне ближе всего там, на земле. Даже не на Рогожское, как наши предки, — в обычный храм, новообрядческий, просто ближайший к дому. Он был не идеален, но и там я находила куда больше, чем могла вместить. Зачем было мне искать другую? Когда положат перед голодным каравай свежего, ароматного хлеба с румяной корочкой, станет ли он спра-

шивать, почему именно такой хлеб ему дали и куда бы ему сходить, чтобы сравнить каравай с другими буханками и лепешками, так же ли они вкусны и сытны? Я знаю, что ничего не потеряла, отказавшись от поисков.

Но если кто-то увидел в своем ближайшем храме (богословы еще говорят: «юрисдикция») серьезную неправду, да такую, какая может заслонить свет Истины, то я понимаю, что этот человек должен отправиться на поиски. Просто я сама не была в его шкуре, поэтому не стану ничего говорить наверняка.

А здесь я встречала всяких людей, ты знаешь. Я же писала тебе даже про индейского колдуна — он вообще ничего не слышал ни о какой церкви, но он здесь. Здесь есть и те, кто искренне заблуждался на земле, кто учил других своим и чужим заблуждениям. Да, они сбились с пути, но многие дошли, сумели как-то выбраться к цели — очень большой ценой. А про остальных мне ничего не открыто.

Ладно, хватит, пожалуй, умных рассуждений. Я просто только что была при Надюшиной исповеди. Это трудно почти всем и почти всегда: в душе, как на стройплощадке, разворочено все, всюду грязь, ямы, груды кирпича. Так хочется все приукрасить или спрятать хотя бы, ну зачем чужим на это смотреть? Вот и говорят: «Мне не надо на исповедь, я могу покаяться напрямую, в любой момент». Только ведь замыливается глаз у человека, строительства на самом деле никакого уже нет, только забор высокий отгораживает разоренный участок. А внутреннее покаяние превращается в притказку: «Ну, извини», да иной раз и с вызовом. Поверь, мне это знакомо. Хотя... вот написала и задумалась, что и перед аналогом бывает так: скинула груз грехов и сразу побежала его заново набирать. Но все же не так это ловко, как наедине с самим собой.

С батюшкой тоже, конечно, не всем везет, ну да не в нем дело, он только свидетель. Бывает, что и советчик хороший, и даже проводник, но если и нет, не страшно.

А вообще, это большое и серьезное искусство, расставаться со своими грехами. Надюша еще совсем юная, не по паспорту, а по опыту христианской жизни, — у многих эта юность не проходит и до самой старости. Поэтому она пока что видит первый ряд — свои дурные поступки и только немного — второй, то есть мысли и чувства. Ну вот поругалась с мужем, обидела его — это она понимает хорошо. Что относится к нему «не как должно» — тоже. Скажет в крайнем случае: «Ничего-то у меня не получается!» — как мне это знакомо!

Но глубже ей пока трудно копнуть, ей еще не заметно, да что я говорю — она еще не готова принять, что все это лишь следствия, верхушка айсберга, а внутри сидит и грызет что-то очень серьезное и злое, и оно только иногда прорывается наружу. Вот это увидеть в себе — не просто вычитать в умных книжках список греховных свойств человеческой природы! — увидеть, признать, ужаснуться и порадоваться одновременно. Да, я такая, во мне все это есть, но меня любят и такую, и это — не часть меня. С меня спадет эта самовлюбленность, черствость, властность и множество, множество прочих пакостей — сними их с меня, Господи, даже если завтра я сама буду цепляться за все это руками и ногами. Сними, только Ты это можешь, а я постараюсь не очень Тебе в этом мешать.

Вот к такому она только-только подбирается, и пусть, не будем ее торопить.

А сегодня вышло у нее на исповеди что-то необычное. Я как-то и не задумывалась, что бесы могут так активно присутствовать и в нашей церковной жизни — а с другой

стороны, чего ж странного? Фашисты вон тоже столицы летали бомбить, а не маленькие деревни: где вреда будет больше, туда и направляют они главный удар, пусть даже и оборона там намного мощнее. Помнишь эти аэростаты? Ты же заскочил к нам в Москву как раз в октябре 41-го, мы виделись с тобой на перроне Белорусского вокзала, как раз перед отправкой эшелона...

Ну вот и я была вроде того аэростата или прожектора — сама стервятников сбить не могла, а все же немного помешала. Ох и неприятное это ощущение — мрак, сгущающийся неподалеку от дорогого человека, безликий, бессмысленный мрак, сквозь который светят два живых сердца... Я всерьез тогда испугалась за нее и за того батюшку, что принимал у нее исповедь, — я как-нибудь потом тебе о нем расскажу, если еще не утомила тебя своими церковными историями, тебе ведь это не очень, наверное, интересно.

Зато меч Максимыча ты бы оценил, товарищ командир. Тебе бы такой в полк, да? Мальчишки-мальчишки, все-то бы вам в войну играть, все бы говорить о мечах и доспехах... Ладно, не буду дразниться. В общем, пришлось позвать его на помощь. Он сам удивился, как много было этой пакости вокруг: что это они так заинтересовались Наденькой? Вроде ничем она не выделяется из прочих.

Удар был нанесен, и, кажется, обоюдный. Исповедь состоялась — даже не слыша слов, я видела, что это была честная, глубокая исповедь, которая меняет человека, пусть не с одного раза, но меняет. Но какие-то ошметки тьмы там тоже остались... Если уж Максимыч не разогнал их одним ударом, то что же это было? Кажется, Миша, у Нади все будет всерьез.

Твоя Маша.

9.

Знаешь, Мишенька, а я смогла теперь увидеть твою дорогу восемнадцатого года. Ты сам никогда о ней не рассказывал — мол, «болтался меж небом и землей», да и я не особенно расспрашивала. Было как-то не до того: едва вернувшись с Польской компании, ты отправился в Туркестан, потом на Дальний Восток, мы общались только письмами, а в письмах такого не расскажешь. А позднее и говорить об этом становилось уже небезопасно — не то, чтобы мы не доверяли друг другу, но это как сожженные фотографии из семейных альбомов: если этого лица не будет в твоём альбоме, этого эпизода в твоей памяти, то ты уже никогда и никому даже случайно не дашь его испачкать.

Как жаль, что тогда тебя не поняла и не приняла Лиза. Знаешь, она ведь тоже здесь, мы много говорим о тебе. Кажется, никто так не любил

тебя на земле, как мы, две глупые девочки, хотя и была наша с ней любовь к тебе такой разной. Помнишь, я даже ревновала? А теперь... Идущие к Истоку Любви сближаются и забывают, что это такое — ревность, обиды, непонимание. Точнее, так: на смену «ну как же он меня не понял!» приходит «я только теперь начинаю его понимать».

Мы видели с ней, как ты среди прочих серых спин и холщовых мешков штурмовал вагон, как выменял добротную офицерскую шинель на какую-то рваную тужурку, как прятал свою непролетарскую физиономию от патрулей. И все равно ведь не помогло... Ты не обидишься, если я скажу, что мы видели всю ту воронежскую сцену? Знаешь, ты смотрелся вполне достойно, и тебе действительно очень повезло с тем комиссаром. Запомнил ли ты его имя? Петер Озолин, латышский стрелок.

Все, вроде, ты придумал — рассказал красному патрулю не собственную историю, а историю унтера из своей роты, с которым почти год провоевал. Будто бы ты столяр из Замоскворечья, человек рабочий, и едешь в Харьков к приятелю на заработки, потому что в Москве работы нет. Даже выговор у тебя был, как у простого московского рабочего, и руки после двух лет фронта и одной московской зимы вовсе не офицерские. Да вот красногвардеец тот сам оказался столяром, задал пару вопросов «по специальности» — и все сразу стало ясно, и повели тебя на ближайший пустырь. Они ведь только для порядка решили тебя сначала комиссару показать.

А с комиссаром у вас был очень красивый разговор — даже трудно было такого ожидать. Вы и на германской воевали-то, как оказалось, не так уж и далеко друг от друга, и в чинах ходили одинаковых, и ты теперь уже не пытался от него свое прошлое скрыть. А разница теперь меж

вами была в том, что Озолин точно знал, где оно, народное благо, а ты уже не был уверен ни в чем и только хотел найти такое место, где тебе не будет стыдно за себя самого и за все происходящее. Он ведь даже не пытался тебя склонить на сторону мировой революции, просто говорил о собственном выборе.

И в завершение разговора он выразил все так просто и ясно. Я уверена, что и ты помнишь эти слова, сказанные с легким акцентом: «Подпоручик, я понимаю, вы мало сочувствуете народной власти. Наши враги развязывают гражданскую войну, и каждый фронтовик может стать ее участником. Расстрелять вас было бы самое простое, но я не вижу в этом необходимости. Вы не враг трудового народа, я уверен, что вы рано или поздно примкнете к его рядам. Ваш фронтовой опыт был бы очень полезен нам в обучении красногвардейцев, но я сейчас даже не буду вербовать вас в Красную гвардию. На сей день я прошу вас дать мне честное слово, что никогда вы не будете участвовать в вооруженной борьбе с Республикой Советов. Под этим условием я смогу отпустить вас, и здесь, в Воронеже, наверное, найдется место школьного учителя или другая работа, которую вы бы могли исполнять».

Ты тогда помолчал. А потом попросил папиросу, и он протянул тебе папиросу и спокойно, не торопя, ждал, пока ты ее докуришь. И тогда ты сказал: «Да, подпоручик, я даю вам слово, что никогда не подниму оружия против вашей власти, если она не поднимет его непосредственно против меня и членов моей семьи. Вас удовлетворит мое обещание?» А Озолин рассмеялся: «Вот и отлично, у нас нейтралитет!»

Может быть, именно этого своего решения ты стыдилась в минуту смерти? Но я не вижу здесь ничего дурного,

и знаешь, даже Лиза не увидела. Какой был другой вариант? Ответить ему «нет» и получить пулю? Кажется, ничего третьего тебе не предлагали. Или ты думаешь, что лучше было бы дать такое обещание, а потом все равно пробираться на юг, вступать в ряды добровольцев? Может быть, не стану спорить. Но ведь красные, белые — это названия цветов, условности, и если на деле не отличать подлость от чести, то уже нет разницы, по какую сторону фронта находиться. Мне кажется, тебе не в чем упрекать себя за тот выбор.

И вот ведь еще какая штука... Тогда все только начиналось, ты еще не знал, что из этого выйдет. Но мы с тобой чуть ли не с рождения чувствовали эту великую вину, вековую неправоту богатых перед бедными, перед простыми людьми. Помнишь, как давали у нас на Пасху серебряную монету дворнику Ахмету за поздравление, как дарили какой-нибудь цветастый платок Груне — а на столах у нас стояло заиндевевшее французское шампанское, каждая бутылка ценой в пару дюжин, если не в сотню таких монеток и платков? Как за вечер съедалось и выпивалось больше, чем Груня и Ахмет зарабатывали за год? И никакими благотворительными подачками не унять было этого потаенного стыда.

Как радовался ты, уходя на фронт, что теперь, в окопах, ты будешь делить хлеб и опасность с этими самыми простыми мужиками, к единению с которыми призывала нас вся прогрессивная — да что прогрессивная, вообще вся русская литература. И ты верил, что в огне войны родится новое, демократическое единство, что отдашь ты своему народу не одну только монетку, а все силы свои и дарования. Оплаченное трудом этого народа воспитание, наконец... Станешь частью этого народа, растворишься в нем. Помнишь?

И вот тебе предложили это сделать. Разве мог ты отказать? Что было там, на Дону, — еще никто точно не знал, а здесь тебя звали учительствовать, рассказывать детям Грунь и Ахметов о вещах, которые до сих пор были им недоступны. И если и были хамство, вражда, угрозы — то разве не было это заслуженным, хотя бы отчасти, наказанием нам, сытым, благополучным, самодовольным? Пришло время платить по счетам. Я не знаю, точно ли так думал ты тогда, куря папиросу, но, Мишка, мы же росли вместе, мы же столько говорили об этом. Я на твоём месте точно думала бы именно так. И Лиза тоже это поняла.

Я только не знаю, отчего ты не попробовал тогда вернуться в Москву, отчего не попытался вызвать ее в Воронеж. Впрочем, в той круговерти какие могли быть переезды... И вообще это не моя история. Это вам с Лизой решать. Знаешь, она очень изменилась — тебе обязательно предстоит заново познакомиться с твоей первой женой. Честное слово, она понравится тебе не меньше, чем тогда, на елке 1915 года, но совсем, совсем по-другому. Она такая же глубокая, тонкая, воздушная — только нет уже былой наивности и вздорности или почти совсем нет. Да и ты уже не тот восторженный мальчишка, и я не совсем та... Но ты знаешь, самое прекрасное в нас не просто сохранилось — оно расцвело, освободившись от нашей неумелости и зажатости, от глыб, наваленных темными сторонами нашей природы. Да не просто расцвело — расцветает. Мы же растем здесь, Миша, и растем быстро, как тогда, в раннем детстве, когда чуть не каждый день был открытием, а летние штанишки и юбочки как-то вдруг стремительно усыхали за зиму. Знаешь, как это здорово, вот так расти — а ты спишь да спишь!

Что тебе снится? Может быть, все, что пришло в Воронеж потом? Уроки в нетопленной трудовой школе, ко-

гда тебе запрещали преподавать Пушкина как классово чуждого поэта? Карточки продовольственных пайков из серого, рыхлого картона? Нахальные декреты на фонарных столбах и списки расстрелянных заложников? Ты держал свое слово, Миша, я не могу тебя ни в чем упрекать. Или военный комиссариат, поставивший тебя, «военспеца», в строй Красной армии? Тут ведь тоже не обошлось без рекомендации Озолина — он вспомнил о тебе, когда пошел этот призыв. И как хорошо оказалось, что ты не выписал к себе Лизу, — ее могли бы взять в заложники, ты же знаешь, так делали с «семьями царских офицеров», чтобы муж не ленился драться с белыми. В тебе, правда, признали хорошего учителя — отправили не на фронт, а в школу командиров.

Или снится тебе озверение Гражданской — расстрелы, виселицы и шомпола, когда красной была кровь и белой была плоть тех и других и уже одних от других было порой не отличить? Бегство из Воронежа перед наступающей Добровольческой армией, когда ты точно знал: белые тебя расстреляют как изменника, хотя им ты присяги не давал, а тех, кому ты ее давал, уже больше нет? Возвращение в этот город всего-то через две недели, когда ты жалел, ох как жалел, что не дошел-таки Деникин до Москвы, хоть бы и расстреляли... Нет, пусть лучше тебе приснится, как мы встретились в Столешниковом вновь, в 20-м, и я редела, уткнувшись в сукно твоей шинели, а тебя снова ждал фронт... Почему вы все-таки так любите драться, мальчишки? Ладно, прости, не буду дразниться. Но ведь любите же, правда?

Слушай, я совсем заболталась, я же еще о Наде хотела рассказать. Вот, кстати... Я говорила тебе про это чувство неизбывной вины перед народом, какое было у нас.

А ведь они от него свободны. Свободны до такой степени, что это меня немного пугает. Знаешь, у них даже наоборот теперь модно: ценно именно то, что отделяет тебя от простого народа. Это называется «эксклюзив», «вип» и как-то еще. Собственно, их коммерция во многом на том и основана, чтобы богачу показать всю его разность с бедняком. Не просто продают им нечто полезное и приятное, а такое, чтобы сразу был виден «статус». До революции у нас это тоже встречалось, конечно, в основном среди нуворишей, но так вести себя считалось совершеннейшим невежеством.

Я тут пыталась понаблюдать за работой моей девочки — ну ничегошеньки я не понимаю в этих делах! Наши предки-купцы торговали товаром, который можно было пощупать, или оказывали ясные и простые услуги: например, дед Михай товар возил на своем пароходе и пассажиров. А теперь не очень даже понятно, что у них там происходит. Кажется, что хотят одного: создать вокруг денежного человека мраморный забор, отделяющий его от бедняков. Пусть у него все будет даже хуже, безвкусней, неудобней — но зато без меры дорогой «эксклюзив». Может быть, потому, что сам он вырос в такой же бедноте? Так, наверное, и дед наш Михай, рожденный в крестьянской избе, в городском своем доме вешал бархатные портьеры, которыми пользоваться так и не научился до конца своих дней. А тут они ему и вовсе ни к чему.

Наверное, это естественно для земного человека, хотя мне очень уж непривычно. А вообще на фоне всего, о чем мы говорим, такими мелкими все эти бури кажутся... Только для Нади это же все равно очень серьезно. Ну вот поручили ей недавно делать один проект, как у них называется то эфемерное, что они продают. И сделать его можно

по-разному... Можно в открытую использовать наработки людей из того же отдела и так показать себя недостаточным ценным сотрудником — дескать, все это скорее их заслуга, чем ее собственная. Можно использовать, но при этом старательно замолчать их роль (и то еще не известно, выйдет ли, ведь Надя, по счастью, не очень сильна в интригах). А можно пойти таким путем: начать всю работу практически с нуля, как будто ничего не было. Тогда и обмана не будет, и весь успех можно будет приписать себе. Но с точки зрения дела это будет глупо и неэффективно: зачем два раза делать одно и то же? Вот она и мучается, решает, словно ты, когда папиросу курил, — а вопрос-то ничтожный, и ответ давно ясен. Надо только набраться решимости и ответить.

Ох, Мишка, каким ничемным наблюдателем кажусь я сама себе, когда вглядываюсь во все эти их тонкости! Во-первых, половины, даже больше, я просто не понимаю. А во-вторых, если честно, ну зачем я ей тут! Знает она сама, что такое хорошо и что такое плохо, не маленькая же, в самом деле. Знает прекрасно. Можно подумать, хранители стоят рядом с человеком и твердят как таблицу умножения: «Лгать нехорошо, воровать грешно, нужно быть честным человеком». Нет, на таких зануд они мало похожи. Хороший хранитель (а плохих в хранители и не берут) делает очень-очень мало: только то, что нужно. Подбросить человеку подсказку, показать ему ту сторону проблемы, которую он до сих пор не видел, иногда чутьчку самую подстраховать и очень редко — поправить... Это как в хирургии: нетрудно быть мясником, отпиливать гангренозные ноги (я на такое в военных госпиталях насмотрелась), а вот тончайшие, микроскопические сосуды шивают только великие мастера. Так и хранители. Да и то

сказать: хранитель подскажет и покажет, а вот захочет ли сам человек увидеть...

Ты, может быть, не поверишь, но ведь ни хранителям, ни бесам нельзя вторгаться в пространство человеческой свободы. Любой выбор человек делает сам, и задача хранителя всего лишь помочь ему при выборе. Уговаривать никого нельзя. Да что хранители, даже вестники, когда являются к людям, чтобы передать прямую волю Творца (а такое бывает очень-очень редко), и то всегда оставляют им возможность сказать «нет» и никогда не спорят, никогда не наказывают за такое. Быть святым не всякому по плечу.

Говорят, богословы много рассуждают там, на земле, о соотношении свободы человеческой воли и Божественного всемогущества. Я не умею формулировать на их языке, я могу только сказать, как сама это понимаю: конечно, ничего доброго мы сами по себе не творим. Какой такой «мы наш, мы новый мир» без Него построили, ты и сам видел. Все, без единого исключения все доброе в мире творится Его силой, по Его воле и замыслу. Но у человека Он никогда не отнимает выбора: принять или отвергнуть, встать рядом или пойти прочь.

Ну, а эти мелкие-мелкие повседневные выборы? Что я могу тут сделать? Особенно если и не тянет меня в это влезать, если кажется, что все это полная ерунда... Так что я, наверное, пока очень плохой наблюдатель. Но я буду учиться. И Максимыча обязательно попрошу меня хорошенько пропесочить, то есть объяснить, что тут от меня требуется. Жалко, тебя нет, Мишка, так, как ты, никто не умел объяснять мне простые вещи! Даже Максимыч.

Твоя Маша.

10.

А ведь я заметила, что перестала здороваться с тобой в этих письмах, Миша. И в самом деле — это как дневник, ты же не читаешь их сейчас, и не выходит у меня повторять «здравствуй» тому, кто не ответил в самый первый раз. Впрочем, не в словах же дело...

Зачем я вообще начала писать тебе? Просто потому, что по тебе истосковалась, что так жду нашей встречи? Нет, наверное, не только это. Мне надо вернуться в то золотое время, когда мир был простым и прекрасным, когда мы понимали друг друга с полуслова — в наше общее детство, точнее, в мое отрочество, в твою юность. Мне нужна была точка отсчета, нужно было зеркало, чтобы разглядеть саму себя, свою жизнь и тех, кто мне дорог. Такая же эгоистка-гимназистка, как тогда, помнишь, когда я часами могла рассказывать тебе про всякую

ерунду (ну ладно, не только ерунду, согласна), а ты с важным видом слушал, и кивал, и поправлял, и задавал такие верные вопросы, ведь тебе очень нравилось быть моим старшим братом.

Вот я и писала тебе — двадцатилетнему. И вдруг, сама не ожидая такого, начала открывать тебя совсем другого, каким, пожалуй, я прежде и не очень-то хотела тебя знать — взрослым, отдельным от меня, проживающим такую жизнь, какую не я, а ты сам для себя избрал. Надо же как, Миша... Но оно всегда получается так, если начинаешь вглядываться в лицо напротив.

Самые мудрые говорят о самом важном с Ним. Но, знаешь, это действительно... ну, это как из самолета прыгнуть, наверное, и даже без парашюта, чтобы тебя подхватил Кто-то Другой, кто может и хочет подхватить. У меня пока не очень получается так. Вот и выбрала почему-то именно тебя, а вовсе не Максимыча, и сама не очень пока понимаю, почему. Но это неважно, право, я верю, что с каждым таким письмом приближается день, когда я скажу тебе: «Мишенька, здравствуй!» — и получу ответ.

А Максимыч зато провел со мной сеанс ликвидации безграмотности, это насчет Надюши и моей роли наблюдателя. Да конечно же, не в том моя задача, чтобы занудно галочки ставить, когда она хорошее сделала или подумала, а когда плохое. То есть следить за этим тоже нужно, очень даже внимательно, — но это всего лишь внешние проявления. Борются-то не с симптомами болезни (ознобом, температурой), а с ее причиной, иначе можно температуру сбить, а человека потерять. И главная задача у Хранителя прямо как у врача — помогать больному сражаться с болезнью. Ну а я снова инструменты подаю, как бывало там, на земле. Даже нет, здешний скальпель мне и в руки-то

не взять, я уж скорее ночная сиделка: проследить, отметить, вовремя позвать дежурного врача.

А Надюшин недуг всем нам хорошо знаком: ей хочется, чтобы ее любили. Да я давно писала тебе об этом, про то, как ринулась она в семейную жизнь и не нашла там того, чего искала (на самом деле искала Синюю птицу, вот и не нашла ничего), как потом пришла в церковь. Но на работе-то, казалось бы, к чему об этом вести речь? Человек, прямо по Марксу, отдает свои силы и время в обмен на денежную компенсацию. Еще интересной бывает работа, полезной, но не обязательно. Все просто...

Да какая уж тут простота! Деньги, конечно, нужны, особенно теперь, когда у них там снова свобода торговли, как при царе, да и интерес и польза играют не последнюю роль. Но немного таких людей, которым нужны только они. Не менее важна, как теперь принято там говорить, «возможность самореализации» — то есть не просто ты будешь в деревне землю пахать или в конторе чужие бумажки перепечатывать, а раскроешь все данные тебе таланты в полной мере. Прекрасно, правда? Не все только понимают, что и землю пахать — тоже такое дарование бывает. Тут обычно имеется в виду конкурс, как в провинциальном театре: Гамлет один, и Офелия одна, так что должен каждый себе и другим доказать, что эта роль его, что статистом ему быть не полагается.

Но даже не это главное для нашей Нади. Нет, конечно, ей важно добиться успеха на работе, да и всем почти это важно. Но ей, пусть она даже и сама не отдает себе в этом отчета, важнее другое. Она докажет своим родителям, что она большая, самостоятельная, успешная. Даже отцу, с которым они почти не встречаются и очень редко созваниваются, и уж тем более маме, которая всегда предьявляла

к ней свои требования, всегда ждала чего-то очень конкретного, — и вот теперь, кажется Наде, если она действительно добьется успеха, мама не просто похвалит ее, но признает ее правоту.

Дико тебе такое слышать? И мне было дико, когда Максимыч начал мне все это объяснять. А потом... Потом я просто вспомнила нашу встречу с Антошей, племянником твоим. Сколько пришлось нам проговорить и понять друг про друга! Знаешь, я никогда не думала, пока не повстречала его здесь, сколько же я всего в нем напортила. Я даже про Надю сейчас ничего особенного не скажу, в ее-то шкуру мне не влезть — я могу тебе рассказать про саму себя.

Ты же помнишь, что с нами произошло после ареста Максимыча. Квартира была опечатана, с работы в Первой градской меня уволили (а ведь хирургические сестры с таким опытом тоже на дороге не валяются!). Мне пришлось искать места по каким-то заводским амбулаториям, профилакториям, по окраинам Москвы и области и выслушивать там после полугода работы: «Да, Марья Антиповна, к вам претензий нет, но вы же понимаете... зайдите в кадры, будьте добры». Ютились мы по общежитиям, а то и просто по знакомым. Может быть, все это нас и спасло — мы сразу упали на самое дно, и чекистские сети проходили поверху, нас не задевая. Многие ведь отправились туда вслед за мужьями. А может, была и другая причина — трудно мне сказать.

Знаешь, в глубины Лубянки мне тоже пока хода нет. Потому ли, что она все же чем-то сродни аду, потому ли, что я сама не готова, — но я ничего не знаю об аресте и следствии Максимыча, кроме того что он сам мне рассказал. Я не знаю, почему не тронули меня, почему остал-

ся на свободе ты, «царский офицер», — всяко ведь бывало в те годы, иногда просто бумажка терялась, или сегодня вдруг арестовывали того, кто завтра собирался арестовать тебя. Или просто — и такое бывало — приходили за тобой, а ты в командировке, вот и брали соседа для статистики.

Но я, впрочем, об Антошке. Хороший, умный мальчик на пороге отрочества, когда так необходим бывает мальчишкам отец... Знаешь, я ведь была еще нестарой, я могла еще выйти замуж — особенно во время войны сколько красивых и смелых проходило через мои руки, когда снова стала я хирургической сестрой, и не один, бывало, заговаривал на эти темы... Но мне казалось, что теперь все силы — только сыну, даже когда он и сам уже воевал и когда вернулся. Мне казалось, что семейная жизнь вся осталась в прошлом, теперь вот только сына на ноги поднять да память о муже сохранить. Наверное, было бы лучше, если бы я нашла себе пару — так и Максимыч мне говорил. В том числе и для Антона.

Помнишь, я тебе писала, как старался он быть образцовым мальчиком? Так ведь это с моей подачи. Я понимала, что кому-кому, а сыну врага народа есть только один путь в люди — быть идеальным, образцовым. Нет, я не принуждала его силком ни к чему, я не наказывала его за двойки и тройки, просто он так ясно читал в моих глазах: ты должен быть лучшим. Он не мог принести домой тройку, как и с войны не мог вернуться без ордена, потому что этим он причинил бы мне боль, — а если перевести на детский язык, то выходило, будто такого его мама не очень-то и любит. Каково это парню, который уже потерял отца, а с ним и всю свою благополучную жизнь профессорского сынка, который с мамой вдвоем сражается

против целого света? Нет, такого он вытерпеть не мог, это было бы для него хуже самого сурового ремня.

Ты представляешь, в девятом классе он пришел домой и рассказал: у них одна девочка как-то не очень уважительно высказалась о Сталине. Мы-то сами тогда и слов никаких не говорили про Усатого (да и какие тогда могли быть слова!), но по одному взгляду всё понимали. А мой Антон накинулся на нее, да еще при всех: «Как ты можешь, про вождя и учителя, какая же ты комсомолка после этого!» Он, бедняга, и не понимал, чем грозили эти его обличения девочке, да и родителям. А я промолчала, я подумала: ну ничего, вырастет, сам разберется, не буду сеять у него в душе сомнения. В конце концов это тоже такая честность: нельзя быть комсомольцем и не уважать Сталина, тут он по-своему прав.

Понимаешь, я хотела вырастить из него человека, который сможет жить в нашей стране, не пряча глаз. Не честного, не правдивого — а именно такого, и что бы я ни говорила сама себе про честность, я на самом деле именно это имела в виду. И в результате готова была согласиться чуть ли не со стукачеством, лишь бы мой мальчик был образцовым, лишь бы ни пятнышка на его светлом облике.

И ведь это осталось на всю жизнь! А как я убивалась тогда, уже на склоне своей земной жизни, когда он, пламенный коммунист, дитя оттепели (это время такое настало после Усатого, вроде послабления), стал вдруг вести решительную борьбу с религиозными предрассудками на всех этих собраниях и статьи в газетах писал, заседал даже в совете каком-то, решал, какие церкви закрыть! Нет, меня, свою мать, он жалел, никогда ничего при мне такого не говорил — но ведь мне он на самом деле мстил, а не попам. Мне, за это образцовое свое детство, за то, что так

и остался он до конца своих дней мальчиком-паинькой, боявшимся тройку из школы принести, потому что мама любить не будет. И вот таким требовательным без снисхождения родителем он представлял себе и Его — а кто, кроме меня, в том виноват? Никто. Настоящих попов он видал разве что во время своих турпоходов, на фоне памятников русского зодчества (они же по совместительству церкви), да и то издалека.

Знаешь, у меня это занудство и в самых мелочах тогда проявлялось. Наш быт рухнул в одночасье, с арестом Максими́ча. Но я старалась — как же я старалась! — и в этом нищенском, обрывочном быту сохранить достоинство. Нож и ложка только справа от тарелки, вилка только слева, даже если это алюминиевая миска с мерзкой кашей и стакан жиденького краснодарского чая к ней в придачу. Все равно сервировала, как положено, не было скатерти — так на чистой тряпочке. Можно сказать, я цеплялась за память о наших обедах в Столешниковом и потом на Лесной, в профессорской квартире. И Антошку к тому же приучала: нас могут бросить в грязь, но нас не могут заставить есть эту грязь или быть грязью. В конце концов, хирургия приучила меня к опрятности и порядку.

Пожалуй, это действительно спасало меня тогда, в тридцатые. Только остановиться бы мне вовремя... Вспоминаю свою старость, когда жила я в двухкомнатной коммуналке на Варшавском шоссе, с милой соседкой Никитичной (вот уж повезло так повезло мне с ней!). Приходили ко мне Антон с Олей, потом и Сашку маленькую приводили, а у меня скатерть накрахмалена, приборы расставлены в строгом порядке, и к рыбе не те, что к мясу. Смешно сказать, какие то были приборы и какая рыба — шпроты рижские, а порядок обязательно соблюдался. Понимаешь?

Деньги я ему до копейки отсчитывала, если он по дороге батон мне покупал или что другое. И за столом все то же самое: чинные разговоры, кто что делает, у кого какие успехи, когда Антон собирается диссертацию защищать (ну и мучила я его этой диссертацией), да как Сашенька читать учится и что уже ей прочитали.

Мне бы запросто с ними, а вот не могла уже — привыкла. И казалось моему Антошке, что он так и таскает мне всю свою жизнь табель с оценками, и свой, и Ольгин, и Сашкин, и так важно ему, чтобы ни троек, ни четверок, ни даже пятерок с минусом не было в нем, лишь бы маму не расстроить. А я еще недоумевала, отчего Ольга ко мне так нерасположена, вроде я ей ничего дурного не делала...

Я говорила тебе, я и после перехода рвалась к нему. Действительно, снилась. Хорошо, что мне ничего не давали ему сказать, только видел он меня другой, совсем другой — помолодевшей, задумчивой, сидящей на берегу быстрого лесного ручья. Я опускала в него руки, играла водой и солнцем, пила эту воду — а потом вдруг как начала брызгаться, словно девчонка, и он тоже в ответ, и оба мы хохотали, как бывало в далеком-далеком его детстве, на даче... И никакого крахмала.

Его никак не отпускало все то, что я в него заложила в детстве. Хотя, конечно, вырос он кристально порядочным человеком — но вот от порядка так и бегал до конца своих дней. Галстуки не носил принципиально, в отпуск — только в поход, желательно на байдарках, и ночевать в палатках в лесу. Но на самом деле нарушения любого запрета, хоть самого малейшего, внутренне всегда боялся куда больше, чем любых речных перекатов и таежных медведей. Он и в церковь-то пришел (да, сбылись мои просьбы), знаешь, когда им там уже разрешили — перед

самым распадом Советского Союза. Встретил тогда одного настоящего попа в купе поезда, разговорился с ним, а тот — с высшим образованием, начитаннейший человек, интереснейший собеседник. Ну, Антон раз к нему зашел в храм, другой... Крестился за полтора года до своего перехода, представляешь! Я его встретила здесь таким чистым, тихим, спокойным. Наконец-то принес он табель, который был действительно важен! Ох и винилась я тогда перед ним... А он передо мной. Ревели оба.

А про наших родителей, Мишка, я тебе ничего не буду говорить. Что-то ты и сам знаешь, а что-то тебе предстоит обсудить с отцом. И с мамой, если мы ее увидим. И понять про себя каждый может только сам.

Но вот Надя... До какой степени, интересно, я переносу на нее свой опыт? Может быть, это мне только кажется — ведь у нее совсем, совсем другая история? Но другая она только в том смысле, что ее отношения с мамой и с почти полностью исчезнувшим из ее жизни отцом совсем не похожи на мои отношения с Антоном. А вот результат-то, кажется, близкий, он вообще у нас у многих одинаковый: недолюбленные в детстве, не знающие безусловной и жертвенной любви, мы всё ищем ее. Кто пытается всю жизнь выполнять поставленные родителями условия любви, кто яростно бунтует против них, кто ищет чего-то иного, нового, на замену — а чаще всего всё это подряд, вперемежку.

Причем же здесь ее работа? Да вот как раз при этом. Может быть, для нее успешная карьера — и условие любви, и бунт против условий, потому что совсем не такую карьеру хотела для нее мама. Может быть, даже паллиатив, средство для временного облегчения: начальство ценит, коллеги уважают, да и вообще много всего про-

исходит в этом рабочем кругу, вот и пустота как-то заполняется.

Ну, а что же нам с Максимычем тут делать? Призывать ее к особенно добросовестному и аккуратному исполнению обязанностей? Ну да, как я Антошку. Нет уж, хватит — не маленькая, знает. Попробовать заполнить пустоту — вот что мне предложил Максимыч. Тут, конечно, на первом месте стоит церковь, я же тебе говорила, что такие, как мы, и приходят туда обычно в поисках этой самой безусловной любви. Но и вышло у нее так, как у многих выходит, — Бога она чувствует не очень хорошо (а кто из нас хорошо Его чувствует?), зато вот с батюшкой эмоциональный контакт возник глубокий и... очень непрочный. Она же видит его только с одной стороны, именно с той, с которой хочет его видеть. Когда он набрасывает величественную епитрахиль ей на голову, когда говорит простые и правильные слова, когда просто ласково улыбается ей, она плакать готова, видя в нем идеального Отца. Но он все же не тот Отец, которого она ищет, так что неизбежны разочарования.

Знаешь, я ведь тоже такой была в юности: воображала о людях невесть что, сладко замирала, когда мои ожидания сбывались пусть в самом мелком, а потом горько страдала, что на самом деле человек оказался не тем, за кого я его принимала. Что меня излечило, не знаю — точно не работа в московском госпитале времен германской, и даже вряд ли гражданская... Эти внешние ужасы, пожалуй, только оттеняли воображаемые воздушные замки, над земной грязью они смотрелись особенно эффектно. Может, просто повзрослела. Но когда мы остались без Максимыча, я уже смотрела на мир достаточно трезво, была благодарна за всякий черствый кусок — хлеб

или сочувствие — и не обижалась на его отсутствие, только сосредоточеннее становились мои поиски.

Наверно, и Надя все перерастет. А пока я думаю, чем смягчить явно наметившийся разрыв в ее отношениях с духовником. Нет, она еще ходит к нему, но скорее по старой памяти, и явно ей не хватает того, что было раньше. Это после первых нескольких исповедей и причастий летаешь на крыльях, знаю по себе, особенно если много за предшествующую жизнь накопилось, в чем исповедоваться. Потом наступает привычка, чавкает под ногами болотце, а хочется чего-то воздушного и легкого...

С мужем у нее тоже сейчас все сложно. Об этом отдельно напишу.

Максимыч предложил поискать ей круг общения — из старого она во многом уже выпала, причем по своей вине, больно круто начала «воцерковляться», всех поучать и строить. Остались, конечно, несколько подруг и друзей, прежде всего Алла, но это в основном такая ни к чему не обязывающая болтовня, не более. Может быть, удастся помочь ей увидеть около себя такого человека или даже несколько людей, с которыми она действительно сможет почувствовать, что нужна и любима... Максимыч, правда, меня предупредил, что в случае с женщиной это чревато банальной влюбленностью. Само по себе не всегда плохо, на Надюша все же еще слишком молода, так что для нее это будет настоящая ловушка.

В этом деле, впрочем, ты сам куда лучше меня разбираешься. Ну ладно, ладно, не буду! Миша, как же хорошо, что можно тебе все это рассказывать, пусть даже и в письмах...

Обнимаю тебя!
Маша.

II.

«Я изучил науку расставаний» — так писал один замечательный поэт, он тоже окончил свои земные дни в лагере, примерно когда и Максимыч. Трудная, в самом деле, эта наука — но, может быть, больше всех прочих необходима она людям. Мы учимся куда охотнее встречам и знакомствам, учимся дружить и вместе вести дела. А потом приходит срок... Мишка, ты же сам обращал внимание, как беспомощны в наши времена люди перед смертью: ее не признают до последнего, обманывают и больного, и его родных, а потом, когда она уже случится, прячут ее с глаз подальше. И на похоронах не умеют ничего сказать, кроме: «Да будет земля тебе пухом» и «Спи спокойно, дорогой товарищ», —словно не только тело, а душа, сама его личность безысходно лежит в земле. Да уж какой тогда пух!

Невыразимо трудно, знаю по себе, не только живым расставаться с перешедшими, но и перешедшим с живыми. Те еще не знают, что там, за чертой, а эти уже видят, какой долгий и непростой путь ждет их и по эту сторону. Может быть, оттого некоторые и засыпают, не в силах, как кажется им, идти по нему?

Но есть и еще одна наука расставания. Бывает ведь так: жили люди душа в душу, кем бы ни были они: супругами, влюбленными, друзьями, — и вдруг оказывается, что они не вместе. Смутило ли их что-то, или просто выросли оба, и каждый в свою сторону, знаешь, как из одного корня порой растут сразу два ствола, — в общем, люди разошлись. Как непросто бывает тогда не озлобиться, не мстить и не желать зла даже в глубинах своей души. Так ведь и у нас получилось в какой-то момент, Миша, я даже не знаю, когда именно, но на похоронах мамы я вдруг поняла, что стоящий рядом со мной человек, мой брат, некогда самый-самый для меня родной и дорогой, уже совершенно иной и я его не понимаю и не принимаю.

Это было страшной моей обидой, Мишка, и теперь я хочу попросить у тебя за это прощения. Мне это виделось как твое предательство, особенно горькое и обидное теперь, когда на свете уже не было мамы (ведь я с тех пор так и не встретила ее). Я рыдала ночами в подушку, я пыталась понять: где, как, когда вырос из этого стройного, сильного и нежного юноши, моего старшего брата, разбитной, циничный, прожженный большевистский командир? Да, именно таким я и видела тебя тогда. Просто мне очень хотелось тебя другого, из нашего общего прошлого, а ты уже не был таким. И я не могла задуматься, не могла поверить, что под оболочкой цинизма, а точнее, под его защитной броней может скрываться все то же золотое

сердце, только чуточку более мудрое и оттого менее ранимое, чуточку более привычное к злу.

Я как-то смирилась с этим тогда, у меня были муж и сын — они не могли заменить тебя, как вообще никто никогда и никого не заменяет, но мне с ними было хорошо, жизнь была полна, и не стоило убиваться, что в чем-то она оказалась не такой, как мечталось. Так я сама уговаривала себя, все себе объясняла и продолжала слать тебе открытки на дни рождения, изредка встречала тебя в Москве, ты же вечно мотался по нашей огромной стране. Я уже привыкла, что мы просто родственники, которые иногда напоминают друг другу о своем существовании, но живут вполне отдельно.

А потом грянул гром, жизнь рухнула — но зато я снова встретила тебя. Нет, ты не мог принять открытого участия в наших с Антошкой делах, это я прекрасно понимаю, но твои пусть краткие, ни к чему не обязывающие письма и открытки, да что там открытки — денежные переводы, посылки, они значили для нас очень много. Они позволили нам выжить, и не просто физически продлить свое земное существование — они были маячками в ночи, и немного было у нас тогда других таких маячков. Теперь я снова знала, что у меня есть старший брат, и пусть в это страшное время он почти ничего не может сделать для меня, но делает он все до конца, что только может. Спасибо тебе за это, мой хороший.

Как знать, сколько таких моих разорванных отношений на самом деле были всего лишь перерывом, временным недоразумением — затянувшимся на всю жизнь, а когда и на вечность? Я ведь не только о тебе думала плохо, Миша, просто другие истории не стану тебе рассказывать. Много с кем я рассталась, хлопнув дверью, а уж

что я ответила Никонову на все его приставания, мне уже здесь пришлось подробно и со стыдом вспоминать. Правда, и ему было за что краснеть, даже и побольше моего, но во взаимном прощении не бывает должников и кредиторов, тут выигрывают все. Не скрою, что с Никоновым никакой особой дружбы не возникло, да и не нужно пытаться дружить всем со всеми, бывают же просто разные судьбы и несхожие характеры. Только вот крыситься на другого здесь совершенно точно уже не получится. Отвыкать, кстати, бывает непросто.

Ох и хорошо же я тогда сделала, что ни слова не обмолвилась ни тебе, ни даже Максимычу обо всех художествах Никонова! Пожалуй, вы бы его пристрелили. А тогда я просто перешла в другую больницу, в Первую градскую, и там все было гораздо лучше, ты же знаешь. Так что на самом деле все его приставания просто стали для меня толчком к переменам, мне же самой на пользу, по большому-то счету.

Вот о чем я задумалась сейчас, глядя на Надю. Она ведь тоже сейчас рассталась со многими людьми, которые были ей дороги. Помнишь, я писала тебе, что она просто распугала ближний свой круг, когда стала ходить в церковь? Она вся была такая нарочито правильно-праведная, что... ну да, я тоже такой была. Только я со стороны себя не видела тогда, замечать стала только сейчас — и потому смогла горячо посочувствовать и самой Наденьке, и всем, кто вокруг нее. Знаешь, когда в семье один человек становится христианином, другие нередко сразу производятся в чин стратотерпцев. Как раз наш с ней случай; у меня, правда, весь эффект несколько смазлся на фоне общих наших с Антошкой неурядиц, а у Наденьки он весь налицо в чистом виде. И друзьям-подругам досталось не меньше, чем мужу.

Вот тут ты со своим здоровым и практическим умом увидел бы и понял куда больше, чем я. Так что не буду вдаваться в подробности, а в целом выходит так: очень уж ей важно «не оскормиться», подчеркивать свою инаковость на уровне внешних признаков (а мозги-то остались прежние, мирские, страстные, самолюбивые, и сердечко еще совсем маленькое и неумелое, не привыкшее ни прощать, ни просить прощения). Ну вот, например, отмечают они в своей фирме Новый год (как раз на Рождество по новому стилю, как в Европе). А у Нади в это время Рождественский пост. Так что на вечеринку она пошла, не пойти нельзя было, но вот пила она весь вечер сок и минеральную воду, ела одни огурчики и маслинки. Ведь пост! И ладно бы делала это тихо, неприметно — так нет, все заметили, все «оценили». По правде сказать, насвинячили они изрядно на той вечеринке, но тут уж надо или не приходиться, или, придя, тихонько сидеть в уголке и не выделяться. Сам понимаешь, это как наши прадеды по необходимости, бывало, входили в дома никониан и даже с духовенством их могли общаться, но ни в коем случае не ели с ними вместе, не пили из одного стакана. Ну, наш-то дед таких строгостей не придерживался, ему по купечеству было бы так несподручно, а вообще таких было немало.

И еще это постоянное наше стремление поучать, проповедовать... Сама-то Надя уже подзабыла, как в церковь пришла: не оттого, что ей какая-то подруга все уши прожужжала, крестись мол, да крестись, ведь ты русская, — как она подругам говорит. Можно подумывать, что Иоанн Креститель лапти носил или что Христос учил русскости! Нет, Надя пришла к вере после многих и осторожных разговоров с разными людьми, а главное, после чтения Еван-

гелия, когда в одну ночь она поняла: эта книга слишком высоко замахивается, слишком много на себя берет, так что вся она либо наглый и бесовестный обман, либо чистая правда. Но если это обман, как многие другие книги, претендующие на раскрытие тайн мироздания, рассудила она, то не продержалось бы оно и ста лет, сгнуло бы бесследно, не смогло бы оно породить то, что породило. Тут и русскость ей пришла на ум, но в ином ключе: вся русская культура, выходит, на Евангелии строилась, и не только русская, из нее вышел мир, в котором живем, — значит, есть в этой книге великая правда. Вот с этим и пришла она в церковь креститься.

Ну а то, что она теперь делает со своими подругами, больше похоже на советскую агитацию и пропаганду: до того всех извести лозунгами, что уже и самым бесспорным из них, вроде «мойте руки перед едой», хочется последовать с точностью до наоборот. Ох, Надя-Наденька! Говорят, у древних греков на одном храме было написано всего два слова: «ничего слишком». Здравая житейская мудрость. А у нашей девочки, кажется, жизненный принцип обратный: «ничего в меру».

А в результате, знаешь, она ведь рассталась и с первым своим приходом. Разочаровалась в батюшке — ну, разумеется, потому, что прежде без меры в нем очаровалась. И вот тут бы ей «изучить науку расставаний» ... Но, видимо, еще долго ей этому учиться. Пока что всё больше обиды: не такими они оказались, какими она их видела в своем воображении. Батюшка устал, ему не до нее... Ей трудно принять, в юном ее возрасте, что любовь и забота бывают молчаливыми, что ни один человек не в состоянии постоянно подпитывать и гладить другого. Да, впрочем, что я говорю, ты сам все это знаешь.

И еще одно: в этом их приходе люди практически не общаются меж собой. Стоят рядом на церковной службе, знают даже имена друг друга (ведь их называют, к примеру, у Чаши), знают друг друга в лицо. А вот кто чем живет — это им не известно, да и неинтересно по большей части, а если интересно, то спросить неудобно. Вот и получают они как пассажиры в метро: вроде и вместе, и в одну сторону едут, а каждый сам по себе. Объединяет их только храм да батюшка; вот с ним у каждого богатые, сложные отношения — так что если рвутся или хотя бы надрываются эти отношения, то разом рушится все, человек выпадает из прихода.

Я перепугалась, когда это произошло, а Максимыч сказал: ничего. Это подростковое: уйти на время из дома, потому что в этом доме что-то категорически не устраивает и даже сам подросток едва ли в состоянии сказать, что именно. Просто небольшой перерыв, сказал он, но на самом деле она уже поняла, что есть для нее в церкви, и память эта навсегда останется с ней. Так что этот перерыв, скорее всего, ненадолго.

Важно теперь одно: чтобы она сохранила в душе хотя бы благодарность за прошлое. Так легко бывает переходить от любви почти что к ненависти из-за какого-то пустяка, забывая ради него обо всем остальном. Так вот и наши прадеды спорили, двумя или тремя перстами креститься, разрывали из-за этого и церковь и страну, а про «Христос посреди нас» как-то и не вспомнили. И не стало Его посреди них в тех спорах. В человеческой жизни очень часто и легко так происходит.

Только бы Наденька не порвала сейчас с мужем, у них все действительно плохо, хотя к тому нет никаких особых причин. Просто у двух детей, не привыкших к взрослой,

самостоятельной жизни, есть в головах по картинке, как оно все должно быть. И самое смешное, что картинки-то эти на девять десятых совпадают, но вот на одну десятую разнятся. Или даже так: со стороны никто себя не видит, вот и не замечает каждый из них, что сам не соответствует этому образу «идеального брака» не меньше другого. И обижается ужасно: я идеален, а она нет! Я даже не знаю, что со всем этим делать, Максимыч тоже пока не уверен, что сможет им помочь.

Но, кажется, мы нащупали нить, по которой можно вывести Надю из этого болотца, пока еще мелкого, бытового, но потенциально очень опасного. Она познакомилась с новыми людьми, буквально случайно («Хи-хи», — сказала ее хранитель), и как-то все крепче завязывается у них общение. Это две женщины, они тоже христианки, хотя из другого прихода, и даже приходом его не назовешь. В общем, они из тех, кто старается жить общинно.

Как ведь у нас повелось при Советской власти, когда я в церковь пришла? Никакой общинности и в заводе быть не могло. Сама ходи в церковь, ладно, если не партийная, если карьеру не делаешь, никто мешать особо не будет, пока слишком не надоешь. Но кроме домашней и церковной молитвы чтобы ни-ни! Ни собраний вне службы, ни благотворительности, ни книжного или журнального дела, кроме официоза и календарей, да ведь и тех было не достать... В общем, очень старалась родная наша власть, чтобы церковь и вправду превратилась в заповедник неграмотных старух и жадных попов, какой ее и рисовали.

Поэтому для нас путь в церковь всегда был путем одиночек. Помнишь, я тебе об этом и писала недавно, говорила о спасении как о дороге, и все такое прочее? Вот это

я из своего опыта исходила, из опыта одиночки. А эти люди — да такие, впрочем, бывали и в наше время, просто мне, неготовой и неумелой, не было дано попасть в их круг! — постарались понять и применить к себе именно эти слова: «Христос посреди нас». И жить по ним. Это много сложнее, и тут ловушек поставлено много, ой как много... Но с этим еще не очень все понятно: будет ли Надюша среди них или нет. В любом случае общение с ними явно вырывает ее хотя бы ненадолго из круга привычных мелких обидок и крупного самоедства, а это уже очень хорошо.

Да, Мишка, и вот еще что! Угадай, кого я тут повстречала? Да вот того самого твоего комиссара, латышского стрелка Петера Озолина! Ни за что ведь не поверишь, что пламенный большевик оказался тут с нами. А я бы теперь уже поверила, скольких я тут перевидала людей! Понимаешь, он же не был ни слепым функционером, ни садистом, ни подлецом. Он честно и открыто боролся «за народное счастье», как он его понимал. И много, ой как много передумал он в Лубянке, когда таскали его с допроса на допрос в проклятом том году, когда места живого на нем не оставили, — Максимыча так не терзали, как его. И особенно за те долгие минуты, когда потащили его неведомо куда, сам он уже и ходить не мог, и он уже все предчувствовал, все осознавал и кричал на весь коридор: «Товарищи, не верьте кровавым сталинским палачам! Ничего не подписывайте!» — и снова его били, за три минуты до пули в затылок хотели заставить следовать их собственной воле. Не смогли.

А потом, рассказывал он, была еще одна дверь, и толчок в спину, и грязный пол в бурых пятнах от крови, и выстрел, которого он не почувствовал... И вдруг тот самый

пастор, к которому он, бывало, бегал мальчишкой по улочкам своего городка, когда нечем было заняться и хотелось полистать старые книги, ласково и строго спросил его: «Так что скажешь, Петер?» И он, уткнувшись горящим лбом в его холодные руки (это тогда ему так казалось — никакого лба после подлого выстрела в затылок не остается), уже без долгих раздумий ответил с той же решимостью, с какой уходил добровольцем на германскую, с какой вступал в большевистский кружок, с какой посылал на расстрел других: «Похоже, вы были правы. А я — заблуждался. Уже слишком поздно... отец Ян?» А пастор только печально улыбнулся, и... Нет, Мишка, я не буду, я просто не смогу рассказать тебе это. У каждого это бывает своим, и у каждого — радостным и трудным. Очень радостным и очень, очень трудным.

Но ты знай, что Петер Озолин с нами, и он тоже будет рад встрече с тобой. Вы же ведь и потом встречались, как он мне рассказывал, — служили, кажется, в одной дивизии. Впрочем, это неважно, здесь мы все оказываемся в одном воинстве, хотя я, как всегда, предпочитаю называть это другими словами, например — семья.

До встречи, дорогой мой брат,
твоя Маша.

12.

Мишка, я снова о Наде. Я подумала, что в прошлом письме зря не объяснила тебе, почему так важно, как кажется мне, сохранить их добрые отношения с Антоном, их семью. Да, уже давно прошли те времена, когда венчание считали нерасторжимым. Да взять хоть тебя самого — три официальные жены, а сколько подружек, я и не знаю. Ну что, вроде бы, такого — все люди взрослые, сознательные. Вот на этом этапе своей жизни сошлись, потом разошлись, встретили кого-то другого. Все цивилизованно, без претензий.

Я не буду тебе говорить библейскими или другими цитатами, ведь для тебя они не убедительны, я скажу, как сама вижу это. Понимаешь, семья — это школа Царства, на пороге которого мы все здесь стоим, или же школа ада. В ней собраны самые близкие друг другу

люди, и пусть дети с родителями не выбирают друг друга (а то многие бы точно выбрали себе не таких, какие достались), то супруги, за редкими в наши дни исключениями, все же сами когда-то решили, что они самые родные на земле. А дальше выясняется: да, родные, да, любимые, но все-таки не такие, как хотелось бы. Идут разочарования, слезы, страдания. Если сумеют хоть немного справиться с этим, куда проще будет войти и в Царство, где собраны очень-очень разные люди, и некоторые совсем не такие, как хотелось бы. Если не получилось в семье, с этим одним-единственным человеком, которого ты сам себе выбрал, то в Царстве будет совсем уж сложно.

Бывает, конечно, всяко — иной раз первый брак как черновик, а то и второй, зато вот последний — настоящий, на всю жизнь. Только стоит ли тратить свои годы на перечеркнутые черновики? Да и дети от них бывают, от черновиков, а их не перечеркнешь.

Вот вас с Лизой разлучила, по сути, Гражданская — если бы не она, я уверена, вы бы жили долго и счастливо. Хотя какой-то выбор все равно вы сделали, каждый из вас, в особенности тогда, в 20-м, когда вы встретились снова после долгой разлуки. Вы оба изменились, может быть, не так сильно, как вам тогда казалось, но в 25 лет все кажется таким значительным и окончательным... В общем, вы расстались. Лиза снова вышла замуж, ты и сам все это знаешь, прожила долгую и достойную жизнь, родила двоих детей. А все-таки не от тебя. И никуда ведь не деться вам обоим уже от этого прошлого, от тех венцов, которые над вами держали, от той чаши вина, которую вместе вы пили во время церковного обряда. Не получилось, надорвалось и не склеилось — что же, бывает, и можно даже порой исправить настоящее и изменить будущее. Только

вот отменить прошлое — такое прошлое, я имею в виду, — невозможно. Навсегда вы друг другу не чужие, как бы ни распорядились своей дальнейшей жизнью.

Твою вторую жену, Катю, я ведь совсем не знала, да и не хотела знать, если честно. Очень мне было обидно за Лизу. Но она наверняка тоже достойный человек — впрочем, это тебе с ней разбираться, не мне. А вот кто мне действительно нравился, так это Чинара. Ну вот кто мог угадать, что третью жену ты привезешь из Туркестана — юную, смуглую, молчаливую? Она и по-русски тогда говорила плохо, а главное, все ей казалось, что не подобает молодой женщине влезать в разговоры родни своего мужа. Какая она была славная и приветливая! Жалко, что мы с ней так и не познакомились как следует. Если она здесь, может быть, познакомишь заново?

А ведь тебе, Мишка, признайся честно, просто захотелось наконец самого старозаветного такого брака — чтобы жена во всем слушалась мужа, чтобы все внешние дела оставляла на его полное усмотрение, зато в доме все делала для него. Разве не так? Ну вот к тому ты и вернулся, от чего пытался уйти, по большому-то счету, к распорядку наших прадедов. Не самые глупые, оказывается, распорядки. Только теперь за ними пришлось ехать аж в Туркестан.

Ну а у нас с Максимычем все же было по-современному, не по «Домострою». Знаешь, в моей памяти двадцать без малого лет совместной нашей жизни остались таким огромным солнечным пятном, что не хочу и даже не могу вспоминать скандалы, размолвки, непонимания — а бывали и они, как же без этого. Я ведь других мужчин потом уже, после 37-го, всерьез и не воспринимала в основном из-за того, что понимала: такого впредь не будет, первый брак и был единственным, неповторимым. И хоть Макси-

мыч и говорил, что стоило мне все же замуж снова выйти, в сорок лет это еще возможно, хоть и сама я порой с ним соглашалась, что для Антошки так было бы лучше, — а на самом деле, сдается мне, это было бы просто нереально.

Так что в отношении Надюши я тут сущий младенец, нет такого, как у тебя, опыта. Я вижу, и прекрасно вижу, что она делает неправильно, и понимаю хорошо, к чему это может привести, — а придумать, как ей помочь, не могу никак. Ну что ей, книжки какие-то, что ли, подсунуть, о любви и уважении в семье? Да не станет она их читать. Или познакомить с какой-нибудь красивой, замечательной парой, которая прожила много лет в согласии, чтобы они у них немного поучились? Тоже вряд ли.

Тут ведь вот еще какая штука... Мы жили в эпоху революций и войн. Смотри сам, было мне восемь, тебе десять лет, когда на улицах Пресни строили баррикады первой революции, уже сознательный возраст — и было нам обоим за сорок, когда началась вторая германская, тоже еще не старость. Как хорошо понимали мы непрочность семейного счастья, оттого и ценили его, видели, как легко могут его раздавать социальные катаклизмы. А сегодня они живут в спокойном, сытом мире, и кажется, что так будет всегда — ну как нам самим в детстве казалось, между первой революцией и первой германской. На самом деле, сколько им отпущено покоя и свободы, не знает никто на земле, да и у нас вряд ли кому это точно известно. Вот и кажутся им собственные неурядицы глобальными катастрофами, и не думают они, что когда грянут катастрофы, самый обычный такой день, наполненный суетой и мелкими обидками, будет вспоминаться как великое счастье. Да в конце концов, состарятся же и они, оглянутся на свою молодость и подумают: ведь сколько было

всего, какие возможности, как могли бы мы радоваться жизни и друг другу — а вместо этого какой ерундой занимались? Теперь бы туда вернуться, скажут, ни минутки бы не теряли зря — да нет туда уже возврата. Только к нам, а к нам сюда попасть тоже надо суметь, и земной брак — отличная к тому подготовка. Ну, я не говорю, конечно, о монахах и прочих, сознательно принявших безбрачие, они — особая статья, это не про нас с тобой и не про Надюшу.

Может быть, если бы прежде той старости почувствовала она хотя бы на краткий миг, как непрочно это земное счастье, как много есть на свете вещей, способных его в одночасье разрушить, — она бы начала его ценить по-настоящему. Есть, наверное, на земле такие острова блаженных, где круглый год 25 градусов тепла, и море такой же температуры, и дождь бывает только иногда и ненадолго, и бананы-кокосы сами растут в изобилии. Люди живут там и не ведают, что такое зима и ненастье, и не ценят своего острова, считают его вполне обычным — а попади туда любой сибиряк, да хотя бы житель наших северных деревень, солнцем не обласканных, он сочтет, что попал в рай, и ничего ему больше не нужно. А задуматься, так до чего же узок на самом деле там, на земле, вот этот «коридорчик счастья»: стань чуть холоднее или чуть жарче, градусов на пять-десять, или пойди дождь, поднимись ветер — всё, нет уже того комфорта, люди жалуются на погоду. И в семейной жизни оно так. Нужно усилие, чтобы в холодный день зажечь огонь, в дождливый найти укрытие, а в жаркий — прохладное озеро. А наша пара к усилиям непривычна, ей нужен остров с идеальным климатом, сразу и навсегда. Причем с доставкой на дом. Вот ведь ребятня неразумная!

Так что не знаю я, что с ней, такой, делать. Будь я на земле, пожалуй, поговорила бы с Надей по душам, да не знаю, помогло бы или нет. Может, и к лучшему, что меня там нет — запилила бы я ее. Ты же знаешь, какой я иногда бываю занудой!

Конечно, очень бы помог им ребенок. Я знаю не одну семью на земле, где именно рождение ребенка заставляло родителей смотреть не друг на друга, да еще и с претензией, а на того, кто похож одновременно на них обоих. И, глядя в одном направлении, они заново учились понимать и принимать друг друга. Но, с другой стороны, ни один человек, тем более беспомощный ребенок, никогда не должен быть средством. Если он поможет родителям разобраться с ворохом их собственных проблем, но зато примет на себя груз не меньший, а то и гораздо больший — что же в том хорошего? Так что ребенок им не был пока что дан, и это очень правильно.

А в последние время эти чудики как будто и забыли, как они его хотели. Они живут в одной квартире, словно в коммуналке, и уже не глядят друг на друга такими глазами, как в дни былой влюбленности. Казалось бы, это нормально, иначе и не бывает. Да вот только они вообразили, будто эта самая лихорадочная влюбленность и есть любовь, и твердят себе всякую такую ерунду про «исчерпанные отношения» и тому подобные вещи. Да у вас едва все началось, когда успели исчерпать-то? Они, по счастью, еще не пустились во все тяжкие, искать в посторонних того ослепления влюбленности, которое прошло меж ними и которое по ошибке они называли любовью, но они уже всерьез решили, что без этого чувства не может быть и совместного будущего, и тем более ребенка. Глупые! Влюбленность — это только щедрый кредит

на строительство дома, а вот подлинная любовь и есть тот самый дом, и строится он годами и десятилетиями, зато и стоит вечность. «Живите в доме и не рухнет дом», — писал о таких и не только о таких вещах Тарковский, ты еще его считаешь.

Зато церковная жизнь Надюши меня приятно удивляет. Я и не ждала, что она так быстро вернется в церковь, Максимыч был прав! Только теперь это уже совсем не тот приход. Помнишь, я писала тебе про общинный уклад этого нового круга ее знакомых? Она все больше входит в него, ее церковность понемногу взрослеет, закаляется, обрастает плотью и становится привычной. Хотя, признаться честно, это и отдаляет ее от мужа — все-таки совершенно новая область жизни, которую он совершенно не собирается с ней делить, да и она его к тому не приглашает — но, возможно, если она найдет там себя, ей будет проще найти и к нему дорогу. Люди вроде бы ничего особенного там не делают, просто вместе молятся, по возможности вместе трудятся, вместе решают какие-то насущные вопросы. Так, чтобы христианство их не ограничивалось пределами храма и собственной комнаты, как по необходимости было оно у нас и как во многом повелось с тех пор там, в России, но чтобы оно действительно стало полноценной жизнью. Оно ведь и задумано таким.

Только тут тоже все не так просто. Самая первая ловушка — противопоставить себя, избранных, всем остальным. На том ведь на земле и основывались многие, если не все, ереси. Что там приводилось в качестве богословских оснований, в этом я мало разбираюсь, а вывод всегда оказывался до удивления похожим на тот, что еще на заре веков сделал правитель тьмы: «Мы — особенные, мы не чета этим, которые...» Уж почему «особенные» и кто именно

«эти, которые», не так и важно. Для Надюши это, похоже, «формалисты» — прежний круг ее единомышленников, во главе с тем самым батюшкой. С какой охотой, с каким упоением теперь высмеивает и обличает она их, а точнее даже — свое собственное прошлое. Но говорит при этом не про себя — про других. И всячески подчеркивает, каждым своим жестом, каждым словом — она сама не такая. Забыла, видимо, как совсем недавно изо всех сил старалась быть именно такой, копировала другие слова, интонации, выражения — не те, что сейчас, но зато так же старательно. Вот от чего ее бы надо отучить, да поскорее!

Да ведь и в новом кругу что-нибудь обязательно пойдет не так, как она ожидает, и что тогда? Не бывает, чтобы всегда все было так, сам ведь знаешь. Так и я, как теперь вижу, отвергала многих зря. Помнишь, как еще из гимназии заявила я как-то домой, погожим весенним днем, и заявила, что с Тарасовой нет и не может быть у меня ничего общего, что она пошлая и вульгарная девица и все такое прочее, — а ты тогда только посмеивался? Мне, видишь ли, не понравились разговоры о мальчишках и о плотской стороне любви, которые она было завела и которые мне самой слышать было занимательно чуть не до дрожи... Именно потому я так тогда на нее и ополчилась. Если бы она оказалась виновата в чем-то мне совершенно чуждом и неинтересном, то я бы и в голову не брала ее вину, продолжила бы общаться с ней, как ни в чем не бывало. Ну, может быть, чуточку была бы поосторожнее. Но вот за свои собственные пороки и ошибки других люди прощать не склонны — ведь так они оправдывают себя! Мол, это не я виновата, это не мне интересно про мальчишков, а дрянная девица Тарасова совращает меня, такую умницу и скромницу. В четырнадцать лет забавно

и простительно, а я ведь так иной раз и до конца земной жизни людей отшивала.

Вот и в Надюшином категорическом неприятии своего бывшего круга общения вижу я то же самое, и с этим надо срочно что-то делать. Может быть, дать ей очень мягко, необходимо так сесть немножечко в ту самую лужу, с которой она борется, чтобы могла она чуточку посмеяться над собой? Она ведь девочка с хорошим чувством юмора, это часто помогает людям избавиться от лишнего напряжения и напускной серьезности. Только не знаю, не выйдет ли хуже, она ли над собой посмеется или кто-то над ней, и если кто-то, то сможет ли она понять... Да и вообще, как все это организовать? Будут советовать с Максимычем.

Ты бы мне очень помог в этом деле, Мишка, ты всегда был шалопаем — но добрым таким шалопаем. Ну, по большей части. По крайней мере, таким я тебя и запомнила.

Обнимаю тебя,
Маша.

13.

Мишенька, я все вспоминаю, пересматриваю, переживаю наши общие годы на земле. Почему, почему мы так мало общались потом, после детства, после войн? Ну да, ты жил далеко, и в Москве бывал нечасто, но ведь бывал же! А главное, никуда не девалась почта, хотя не всегда доставало времени на письмо. Ну и что? Почему я не писала тебе, сама сейчас не могу понять. Нужно, что ли, было ждать вечности, чтобы это сделать? Так теперь ты не сразу написанное мной сможешь прочесть... Как глупо тратила я на земле время — вот опять и опять приходится делать этот вывод. И как бы объяснить это тем, кто пока еще там, на земле...

Есть у меня новости про Надюшку, и сразу две. Большие и серьезные новости. Первая, которую она сама прекрасно осознает и которую считает главным событием ее жизни, — она

опять влюбилась. «Опять», говорю я, потому что, не считая всяких там актеров, мальчиков из параллельного класса и прочих девичьих грез, это не первая ее влюбленность. Первая серьезная, с последствиями — это Антон, ее нынешний муж. О нем я тебе писала немного, а подробнее не хочу, у него есть свой хранитель, и о чем они говорят с Максимычем, а порой и со мной, того мне разбалтывать никак не годится. Вторая, ты уже и сам это наверняка понял из прежних писем, — прежний ее духовник. Только в этой влюбленности она и сама себе не признавалась, считая ее чувством глубоко духовным. Об этом можно судить хотя бы по силе ее разочарования — это наше, женское. Так не думают и не говорят ни о ком, кроме тех, в кого были влюблены и кто, как потом нам показалось, оказался недостойным влюбленности.

Что я, сама не знаю, что ли? Ты думаешь, если у меня был только один муж, то и не влюблялась я? Ну, про гимназическое и говорить не будем, там действительно были грезы, а все реальные мужчины — лишь повод к потоку фантазий и смутных предчувствий. Очень полезный поток, на самом деле, вроде очередной детской игры — вроде и не всерьез, а подготовка к серьезному. Печально только, что теперь у многих из них там, на земле, принято принимать эти детские игры за самое что ни на есть серьезное дело, со всеми вытекающими. А потом, когда вырастают детки или по крайней мере кажутся они себе выросшими, оказывается, что никакого другого вида любви они не освоили, о нем даже не подозревают, и вот до старости остаются они всё такими же шалопаями-подростками, которым кружит головы, ведет из стороны в сторону собственное либидо, словно первая бутылка пива, выпитая в подворотне, тайком от родителей.

Это все, конечно, не про Надюшу, но она ведь тоже живет в этой среде, которая на высшую ступень возносит подростковую влюбленность: болезненную, сиюминутную, неумелую... Да, она очаровательна, как очаровательны первые шаги малыша, такие еще неуклюжие, неуверенные, — но ведь нелепо выйдет взрослым людям всю жизнь подражать этой походке! А стараются.

В общем, понравился ей коллега по работе. Он тоже женат, и там тоже в семье не все ладно, вот и ищут они друг в друге, чего не смогли найти в своих собственных семьях. Конечно, каждый ведь человек несовершенен, и каждый имеет на то право — каждый, за исключением моего супруга. Я его сама подбирала, он должен быть идеальным. А если нет, то берегись! Вот примерно так они и рассуждают, не отдавая себе отчета.

Начиналось все вполне невинно и даже очень хорошо: они вместе работали над одним проектом. Надюша увидела, какой это ответственный, внимательный человек, способный чутко реагировать на все происходящее, брать на себя главную тяжесть, уводить из-под удара начальственного самодурства тех, кто помладше, и тех, кто просто рядом. Разительный контраст с талантливым обалдую Антоном, правда? А что Антон зато у нее всю работу по дому делает, и делает хорошо, и не попрекает ее ни словечком, об этом она даже не задумывается. Это само собой, а ведь сколько женщин о таком просто мечтают! Готовит он отлично между прочим. Может быть, и отцом бы вышел хорошим — из таких непутевых и получают иногда прекрасные отцы, заботливые выдумщики. Но этого она в нем не видит и видеть не хочет, равно как и своих недостатков.

Нет, она теперь с головой ушла в работу и общественно-церковную деятельность. Наконец-то она востребова-

на, ее понимают, ценят, даже любят! Помнишь, я писала тебе, что именно этого она на самом деле и жаждет больше всяческих зарплат и карьерного роста, и она в этом вовсе не одинока. Я ведь тоже через это прошла. Знаешь, до чего мне было хорошо в операционной, особенно на второй германской, в эвакуогоспиталях, — некогда было думать о плохом, о гибели мужа, о том, что в любой день может прийти новая похоронка... Мы с ног валились от усталости, но мы спасали, вытаскивали этих людей. Правда, не всех; и порой я замирала от ощущения полного абсурда: вот сейчас мы тратим второй час на то, чтобы вытащить молоденького лейтенанта, чтобы он жил, чтобы были у него жена и дети, но что все наши миниатюрные скальпели, зажимы, иголки по сравнению с грудями металла, которые там, на фронте, ежесекундно калечат и убивают десятки, сотни таких же мальчишек? Разве не пытаемся мы наперстком вычерпать море? К чему все это? Но у меня было дело, которое я умела делать хорошо, и не было важнее этого дела в целом свете. И я делала его. Сколько их лежало передо мной на столе — и, по счастью, я была всего лишь сестрой. Не мне доставалось делать страшный выбор: кому колоть последнюю ампулу, кому что ампутировать, кого уже просто не трогать.

Знаешь, я не раз влюблялась в них — больших, настоящих мужчин, делавших самое мужское на свете дело. И это, кажется, мне, было правильно и хорошо, хотя однажды... Ой, ну я об этом, может быть, при встрече тебе расскажу. Не в письме. В общем, не была я железной, совсем не была.

Да, так я про Надюшу. У них пока недалеко все зашло, если мерить современными мерками, — гуляют, разговаривают, за ручку держатся. Даже еще не целовались,

но это, кажется, совсем не за горами. Понимаешь, Надюша уже дала себе разрешение на все, хотя сама еще этого не поняла. Дело только за временем и привычкой, а катится оно все само собой, как будто без ее воли и участия. Да и не в телесном дело, оно, в конце-то концов, лишь проявление того, что в душе, а там она давно уже изменила мужу, сочтя свой брак с ним трагической ошибкой, а нового знакомого — тем самым идеальным мужчиной, которого... Ну да, проживи она с ним полгода, а то даже и месяц под одной крышей, сразу вспомнит, сколько замечательных черт было в Антоше. Только все равно в таких случаях себя всегда очень старательно убеждают в собственной правоте.

Да, это пока она старательно думает, что «понесет свой крест» (то есть на самом деле, брыкаясь и ругаясь, будет ежедневно упираться лбом в последствия собственного выбора под названием «замужество»), что будет верна Антону, что... А потом иссякнет эта решимость, зато аргументы с другой стороны будут казаться все сильнее и убедительнее: брак их не венчан, и вообще они современные люди, и, главное, «любовь всегда права». Любовь — да. Искренняя, жертвенная, мудрая любовь всегда и во всем права, и нельзя ограничивать ее никакими правилами и условностями. Но принимать за нее незрелую детскую влюбленность — все равно что объявить желудь столетним дубом и пытаться напилить из него ценной древесины.

Когда такая влюбленность говорит: «Я тебя люблю», громче всего звучит только одно слово: «я». Именно мои чувства и переживания имеют значение: «Я хочу быть с тобой», но никогда: «Хорошо ли тебе будет со мной? Тот ли я, кто тебе нужен?» Чтобы задать их, нужно выра-

ти до любви. Или вступить в брак; там уже заранее задано: мы — вместе, и остается только подумать, как бы сделать это «вместе» счастливым для обоих. Для одного-то ни за что не получится.

Такие вот серьезные дела. Конечно, ты скажешь, что одна-другая измена ничего не значат, и что люди могут снова найти друг друга после продолжительного опыта жизни врозь, и что вообще свет на этом Антоне клином не сошелся, и... Да много чего тут можно сказать, и, в общем-то, это тоже будет правда.

Тут ведь вот еще какая штука: у нее же все это отлично получается сочетать со всей своей церковно-общественной работой. Жизнь как бы разделилась на несколько непересекающихся секторов: в одном правильные слова и поступки (ах, как стремится она быть правильной!), в другом постылый надоедливый быт, в третьем романтика без руля и ветрил. Как-то у нее получается делать так, чтобы все они не пересекались, жили по разным законам и все мысли, слова и поступки аккуратно раскладывались по разным полочкам, в кажущемся порядке. А ведь больно бывает, когда оказывается, что не разные полочки, — одна-единственная жизнь. И прожить ее надо так, тут совершенно прав пролетарский писатель, «чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы». В особенностях — здесь.

Ты скажешь, наверное, что я слишком строга к ней, не снисхожу до ошибок молодости, вполне естественных и извинительных? Да, наверное, в какой-то степени это так. Но я просто вижу, насколько все это может быть опасным и липким, как трудно из этого бывает выбираться...

Я тут, кстати, начала понемногу разбираться в этих ее церковных активистах. Знаешь, в наши дни все было за-

давлено советской властью, если что и высывалось наружу, то уже казалось чем-то совершенно необычным и достойным всяческого уважения. До сих пор помню, как в одном деревенском храме (я там оказалась буквально случайно), как раз во время хрущовских гонений (это я тебе потом расскажу), вышел на амвон старик-священник говорить проповедь. Говорил он о борьбе за мир — тогда о ней во все трубы трубили, писали даже в церковных журналах, такая была функция у Церкви, за мир во всем мире бороться, заодно с родной Советской властью. И вот стал этот священник говорить, что за мир можно бороться только в глубине собственного сердца и что, пока не будет достигнут мир в нем, всякая другая, внешняя борьба, будет только множить раздоры и войны. А если сумеешь жить в мире сам, то и бороться тебе уже будет не за что, мир сам настанет. Знаешь, как это было удивительно слышать — против официальной линии, зато прямо по Евангелию! Вот такими вот крохотками и жили.

А когда сняли этот внешний груз, то все, кто сидел в подполье и полуподполье, получили свободу. И тут сразу стало явным, что объединяли их догматы веры и общее неприятие советчины, а вот все остальное скорее разделяло. Бывшие близкие друзья стали непримиримыми идеологическими противниками (это в Церкви-то!), обличали друг друга, спорили. Фактически уже и общения никакого не стало между самыми крайними лагерями: «Я в тот храм не хожу, там эти, которые...»

Я мало понимаю в сути их споров. Одни, к примеру, говорят, что надо причащаться почаще, а другие — что каждый раз надо достойно готовиться. Одни настаивают на вселенскости христианства при всем его национальном многообразии, другие призывают бережно хранить

русские традиции. Вроде как на словах и не противоречат они друг другу, но получается, что на деле они чуть ли не враги. И вот наша Надя, условно говоря, перешла от тех, которые за русскость и долгую подготовку, к тем, кто за частое причащение и вселенскость. Ну, там всё куда сложнее, ты бы понял это намного лучше меня.

В суть споров я не очень вникаю. Я вот, к примеру, согласна, что Наденьке точно надо причащаться почаще, как и мне бы в мои дни следовало, это все-таки очень хорошо держит нас в форме. Ни одно упражнение, ни одно лекарство не даст заметного эффекта, если вспоминать о нем раз в несколько месяцев. Но, с другой стороны, может быть, есть такие люди, которым не так важно часто, как важно после тщательной подготовки, — я же не могу говорить сразу за всех. Так и во многих других отношениях.

Опасность тут сам понимаешь какая. Как только внутри единой Церкви, а точнее, в отдельных головах возникают «единственно правильные мы» и «эти, которые», рукой подать до сектанства, а то и до серьезной ереси. Нет, конечно, бывают такие вопросы, по которым только одна точка зрения может быть правильной, альтернативной таблице умножения на свете нет, а христианство с альтернативной догматикой (таких, кстати, немало) — ложное, извращенное учение, недостойное и имени христианства. Но когда разделение проходит в мелких частностях, ну вроде как у наших прадедов насчет того, в какую сторону ходить крестным ходом и сколькими пальцами креститься и сколько букв писать в имени Иисус, то любое, самое формально правильное решение может стать совершенно сектантским, как только оно объявит себя единственно возможным и спасительным.

Так оно получается и тут, и побаиваюсь я всерьез, не затянуло бы нашу Надю в эти словопрения сверх меры. Она, как и я, невеликий богослов, зато, как и всякая женщина (особенно учившаяся в женской гимназии, это я про себя), отлично умеет дразниться и обзываться, отстаивая «своих» перед «чужими». Тут еще надо учесть, что у Нади вдруг открылся новый талант: оказалось, она довольно прилично умеет писать. Разумеется, она нашла для него хорошее применение — пишет статьи в пару разных христианских изданий (да вот, дожили мы и до такого), хорошие, правильные статьи. Но ведь бывает, сам знаешь, лучше говорить этих правильных слов поменьше, а не то есть опасность слишком к ним привыкнуть, разменивать жизнь на слова.

Впрочем, скоро перед ней встанут совершенно другие проблемы, не до того ей, наверное, будет. Теперь скажу и про вторую Надину новость, ей самой пока неизвестную: в ее теле поселилась серьезная, грозная болезнь. Для меня это такая неожиданность, что я даже не знаю, что об этом думать. И я совершенно не понимаю, зачем это сейчас Надюше. Мне кажется, можно было бы без таких крайних мер обойтись, но мне тут надо все хорошенько обсудить с Максимычем. А до тех пор, пожалуй, не буду тебя этим беспокоить, мой хороший.

Наши узнали, кстати, что я пишу тебе письма — Лиза, Максимыч, наш папа, даже тот самый комиссар Петер заинтересовался. Передают тебе приветы — хотя, надеюсь, их ты увидишь намного раньше, чем дойдут у тебя, пробудившегося, руки до этой писанины. Когда же, когда это будет... Знаю, что вечность впереди, а все-таки не могу утерпеть.

Обнимаю тебя.
Твоя Маша.

14.

Мишенька, помнишь ли, как мы болели в детстве? Когда вдруг забываются игры и отменяются занятия, ничего не хочется делать, ты лежишь в белой, прохладной постели... но нет, прохладная она только когда выздоравливаешь, а так она жаркая, душная, немного страшная. Тебе видится и слышится что-то такое, чему нет и не может быть места в обыденной жизни, и какие-то странные существа копошатся в углах комнаты, им нет названия, у них нет речи, и ты пытаешься овладеть их языком или защититься от них, но не знаешь, как это сделать. А потом на лоб ложится холодный, влажный компресс, и мама, волнуясь, говорит о чем-то с доктором, как будто о тебе, но ты словно бы сам воспринимаешь себя со стороны, тебя здесь уже почти нет. Всё, чем ты жил еще вчера, далеко-далеко...

А потом приходит тяжелый, душный сон, ты уже сам не помнишь себя, тело живет какой-то своей жизнью, вне твоего сознания, ты проваливаешься в черноту — и вдруг, следующим утром, мир возвращается к тебе. Он снова привычен и светел, и мама, а не горничная сама приносит тебе завтрак в постель и обещает купить долгожданную игрушку, и глядя на нее, ты вдруг понимаешь, до чего же она любит тебя — а все ваши размолвки, все неуместные окрики и несправедливые, как казалось тебе, наказания остались в далеком, далеком прошлом. Ты словно совершил путешествие в эту ночь, и доктор говорит: «Кризис миновал» ... Так вот как это называется: кризис? Говорят, на греческом языке это слово означает «суд».

А помнишь, каково было одному из нас жить, когда заболел другой? Весь мир начинал вращаться вокруг него, и было неприятно и немного обидно, но я, даже совсем еще кроха, понимала: так и должно быть, с братом сейчас происходит что-то очень важное. Я старалась потише играть и поменьше радоваться, я ничего не понимала в болезни, но и я по-своему уходила в тень, чтобы центром домашней вселенной стал на время больной, то есть ты. И даже немного завидовала: вот в следующий раз это я заболею, это мне купят большой-пребольшой кукольный домик, и строгий и красивый дядя доктор будет прикладывать мне к спинке эти симпатичные трубочки. Потому, наверное, и болели мы почти всегда вместе — а не только из-за заразности.

Интересно, а ты тоже такими запомнил наши детские болезни?

К чему это я... Помнишь, я упомянула тебе в прошлом письме о болезни Нади. Она сама еще не знает о ней, вернее, только начинает узнавать — сдает анализы, посеща-

ет врачей. Но ей еще предстоит узнать, насколько все это серьезно, осознать, принять смысл этой болезни. Мне самой непросто это сделать, да может быть, мне этого делать и не надо — каждый человек только сам может по-настоящему понять подлинный смысл событий своей жизни. Ну, может быть, еще настоящим хранителям такое открывается, но мне же, сам знаешь, до них еще очень далеко! Еще не одну и не две земных жизни, может быть, и не один десяток предстоит мне наблюдать, чтобы стать помощником, и потом сколько же еще пробыть им... Но я никуда не тороплюсь, да и куда мне тут можно было бы торопиться?

Так что о Надиной болезни я могу только догадываться и размышлять, советуясь с бесценным моим Максимычем. Нельзя уравнивать болезнь с грехом, что так любят делать люди. Конечно, нередко бывает так, что человек сам доводит себя до болезни — цирроз печени у сильно пьющих, например. Могут быть и более тонкие связи между поведением человека и последствиями для его здоровья, но тут связь примерна та же, что и между неосторожностью и несчастным случаем: неосторожность часто, но далеко не всегда приводит к происшествиям, да и в аварии нередко попадают те, кто был предельно осторожен. Так что формула «болен — значит грешен» категорически неверна. Иначе был бы какой-то нелепый, неуместный автоматизм: пожелал другому зла — простудился; украл что-нибудь — гриппом заболел, если в особо крупных размерах, то с осложнениями, а уж как совершил серьезное предательство — тут тебе и инфаркт с инсультом. Нелепость!

Сколько людей на земле Христос обличил в их грехах — но ни одного не покарал болезнью. А сколько исцелил?! Да, Он говорил иной раз о прощении грехов, ясно указывая на связь греха и болезни, но связь эта скорее все-

общая: люди грешат, вот и болеют. Когда Ему предложили вынести приговор над человеком, слепым от рождения, он ясно ответил: это не за его грехи (да и какие грехи у нерожденного младенца?) и не за грехи его родителей (справедливо ли было бы карать за них малыша?). А за чьи же грехи, хочется здесь спросить — но вопроса не получается, любой ответ ложен, просто бессмыслен. Он сказал тогда: «чтобы явилась на нем слава Божья». И смотри, сколько, в самом деле, было тогда телесно здоровых, зрячих людей — но мало кто из них увидел Христа так отчетливо, как этот человек, проживший полжизни в слепоте и нищете. Половину своей земной жизни — в сравнении с вечностью. А сколько прозрели вокруг него и благодаря ему? Вот и выходит, что смысл в его телесной слепоте был, и немалый.

Ты только не думай, что я оправдываю болезни, — я, в конце концов, была на земле медсестрой и боролась с ними всю свою взрослую жизнь. Болезни — враг, но это такой враг, в борьбе с которым ты можешь стать сильнее и лучше. Это враг природный, вроде голода, холода, смерти, с которой у болезней так много общего. Не будь этих природных врагов, человечество превратилось бы в стадо благодушных идиотов, двуногих растений.

А есть у человечества враг сверхприродный, духовный, вечный, от которого нет и не может быть ничего хорошего. И болезнь может стать полем решительной битвы с этим врагом. Нет для врачей ничего важнее исхода болезни — а для нас ничего важнее исхода этой битвы в вечности.

Другой уровень, понимаешь? Вот у нас в эвакогоспитале был немолодой солдат, по профессии часовщик. У него была гангрена кисти правой руки, он умолял сохранить

ему руку, в этом вся его жизнь, без руки он нищий неумеха. Но для спасения жизни не оставалось ничего, кроме ампутации, и чем позднее бы лег он на стол, тем выше пришлось бы резать. Он предпочел бы тогда умереть, чем лишиться руки. Хирург ампутировал кисть, я потом долго сидела у его кровати, беседовала с ним. Всем сестрам было велено следить за ним — не давать ничего острого, никаких опасных лекарств. Человек всерьез хотел покончить с собой.

Я встретила его случайно лет десять спустя, на рынке. Жизнь продолжалась, у него была новая семья (прежняя частью погибла, частью рассеялась по свету), он и с левой рукой освоил какое-то нехитрое ремесло, уже не помню какое, и был без меры благодарен за ту ампутацию, за годы новой, наполненной событиями жизни.

А что будет с Надюшиной болезнью? Ампутация тела ради спасения души, назовем это по-хирургически прямо? Не знаю и не могу знать. Но момент истины — совершенно точно. И вот тут надо ее поддержать, и хорошо поддержать, а я совсем мало умею и могу для нее сделать...

Видела она недавно сон (вот тут не без меня обошлось, ну что поделаешь, сны — это самое легкое). Идет она над пропастью по канату, балансирует, держит изо всех сил равновесие. Под ней толпа народу, все смотрят, кричат, все недовольны ей: одной платье не нравится, другому ее осанка, третьей выражение лица. Да как же, думает Надюша, мне всем им угодить? Она старается держать спину ровней, старается улыбаться, и даже платье вроде бы есть у нее запасное, в маленьком рюкзачке за спиной, вот сейчас, она, может быть, переоденется, но только ведь переодевание на канате тоже им не понравится, это совершенно неприлично... И вот она балансирует и не знает

уже, за что хвататься, а шест, даже шест вдруг сам начинает рваться из рук, становится упругим, тугим, и по обоим его концам вырастают две птичьих головы, каждая хочет лететь в свою сторону...

Шест, наконец, вырывается из рук, и забывает она про осанку, улыбку и платье, про недовольство толпы и уже не может стоять на канате — летит вниз, сейчас разобьется. Но нет уже толпы, в воздухе полно какого-то мелкого белого пуха, и он сгущается, становится облаком, и ее падение вязнет в этом облаке, словно она прыгает в подушку. И вот уже на ней какое-то простенькое детское платьице, и сама она маленькая девочка, а пух — это просто облако, по которому легко и приятно идти. Она старается оглядеть его целиком и замечает, что это огромное, уходящее чуть ли не за горизонт белое крыло, и это крыло куда-то ее несет.

Тут она проснулась с тем удивительным ощущением беспричинного и настоящего счастья, которое и дают вещи сны. Может быть, это ощущение даже важнее тех смыслов, которые нам в этих снах стараются передать.

А потом закурился, завертелся обыденный ее день — работа, общение по всем этим ее электрическим каналам (не помню точно, как они у них называются) то с предметом своих воздыханий, сидящим в соседней комнате, то с активистами церковного кружка, совсем в другом тоне, на другие темы, под другими видами, то просто с подружкой. Всё в разных окнах этой ее электрической почты, и всё как будто от лица разных людей с одним и тем же именем и обликом. Обыденный день. Вечером — постылый, надоевший домашний уют, нелюбимый, как ей кажется, муж и бегство, новое бегство в пространство электрических сигналов другим людям и маскам или дамских

романов о пылкой и страстной любви, какой не водится в наших широтах.

А что же ее роман, тебе, наверное, интересно? Да ничего, так и топчется на месте. Ни броситься в него с головой она не решается, ни оттолкнуть. Даже не знаю, хороша ли такая нерешительность: так ведь десятилетия можно провести в раздумьях, а потом, на закате, взглянуть на прошлое с недоумением: и на что время потратила? Отчего не жила?

Эх, Надя-Надюшка, посидеть бы нам с тобой за чашкой чаю, поболтать бы о жизни девичьей, о нашем, родном, наболевшем. Глядишь, мне и удалось бы тебе что-то прояснить. А пока что как мало умею я тебе помочь!

Ясно вижу теперь, почему мне досталась именно Надя. Она ведь моя, родная, но я совсем пока не знаю ее, поэтому готова принять ее любой. Я бы в Саше постоянно стремилась поправить что-нибудь по-своему, как же, помню ведь эту девочку с белыми бантиками. А с Надей я просто знакомлюсь с чистого листа, не ожидая и не требуя ничего и радуясь своим открытиям. Так, наверное, сходили измученные дальней дорогой моряки на берег только что открытого острова, радуясь родникам, птичьему гомону, сочной траве, все принимая с благодарным удивлением — ведь на их карте тут было просто белое пятно, никаких несбывшихся ожиданий.

Теперь я вижу, что и с тобой мне предстоит такое же знакомство, Миша. Чтобы понять это, уже стоило писать эти письма. Нужны ли они тебе, дают ли что-то сейчас, или дадут потом? Я даже не знаю. Просто не могу их не писать, как не могу не просить за тебя, бесценный мой брат. Это нужно мне самой, это как пить прохладную воду в жару.

Твоя Маша.

15.

Видишь, Мишенька, как редко я стала писать тебе... Даже трудно сказать, что тут главной причиной. Может быть, Надина болезнь — мне сейчас все чаще и все больше приходится бывать с ней. А может быть, отсутствие ответа. Я верю, что ты обязательно прочитаешь все это и подробно ответишь мне, и вот тогда наговоримся всласть. А может, это я наконец-то взрослею и меньше нуждаюсь в болтовне? Пусть ты и молчишь, мой дорогой брат, но я начинаю понимать тебя, правда.

Кстати, я, кажется, знаю, о чем ты говорил тогда, нажимая курок приставленного к виску пистолета: «...если бы еще тогда!» Я ничего, конечно, не знаю наверняка, Миша, мне очень трудно судить — да что судить, это вообще невозможно! — мне трудно догадываться о чужой, даже твоей, судьбе. Но мне приоткрыл кое-что

Петер Озолин, тот самый твой комиссар. Ты не думай, тут не бывает сплетен, и если кто-то открывает другому такое, что касается не только их двоих, это значит, что третий может это принять как свет и что ему действительно важно об этом знать. И еще, Петер совершенно не в обиде на тебя. Он сам мне говорил: «Ну какие обиды! Я послал на смерть столько достойных людей, много лучше меня самого, ради призрака, ради лжи и обмана — как я могу обижаться на тех, кто сделал нечто подобное со мной? И главное, их заставляли, им грозили — а я все делал только по доброй воле. Нет, мне лишь отплатили, и очень даже милостиво отплатили, показали оборотную сторону. А Михаил, он и вовсе ни при чем, это так уже была, формальность...» Да, именно так он и сказал.

Помнишь ведь, конечно же помнишь тот сумрачный вечер, когда вызывали тебя к тому черному человеку с бледно-голубыми петлицами, и ты шел, сам не зная, вернешься назад, к Чинаре, или уже нет. Вы были люди военные, с боевым опытом, и у каждого было оружие — а ведь шли как бараны на убой! «Это такие, как я, постарались», — мрачно сказал об этом Петер, хотя, думаю, он слишком суров к себе самому. Он тоже не такого хотел. А вы исчезали один за одним, такие как ты и он, — кого вызывали за каким-то пустячным делом в штаб или на склад, кого брали ночью на квартире, а кому в открытую предлагали явиться в известный кабинет. И шли все с одинаковым внешним спокойствием и внутренним трепетом: сначала надеялись, что это еще не арест, а потом даже вздыхали с наивным облегчением: ну все, это уже арест, теперь уже нечего ждать и бояться.

Но для тебя это был не арест. Тебя усадили на стул, достали бланк протокола допроса свидетеля (ты, навер-

ное, и не видел, но это очень важно: свидетеля, не обвиняемого!) и сразу, в лоб: «Товарищ майор (это тоже важно, что ты был еще «товарищем», это ты понял сразу), вчера нами был разоблачен польский шпион, контрреволюционер-троцкист, бывший дивизионный комиссар Озолин. Что вы имеете сообщить по этому поводу?»

«Не польский, — ответил ты, — он ведь из Латвии». Звучало почти как согласие, но ты же не имел ничего такого в виду. Ты просто хотел уточнить, что Петер не поляк, а латыш, и если уж принимать нелепую версию о шпионаже, то логичнее ему служить не Польше, а Латвии. Впрочем, какая уж тут логика, если одновременно он объявлялся еще и троцкистом! Миша, я знаю: этим ответом ты еще ни с чем не соглашался, просто вырвалось рефлекторно, ты просто уточнял детали, убирал из обвинения самый нелепый пункт — но с этого ответа разговор и пошел не в ту сторону, сразу и безнадежно.

«Латвийский, значит? — переспросил черный человек и сверился с бумагами, — да, действительно. Итак, вы встречались с ним еще на Гражданской?» И ты поспешно начал рассказывать. Ты старался говорить о нем только хорошее, но уже тогда ты старательно вымарывал из рассказов себя: он не то, чтобы спас тебя от расстрела, а просто проверил документы и отпустил, и не то, чтобы призвал тебя в Красную армию, а просто ты слышал, что в том году он действительно комиссарил в Воронежской губернии, но личных дел у вас не было и быть не могло. Случайная встреча.

«Что ты мне сказки рассказываешь, майор?! — человек взревел и стукнул кулаком по столу, — мы шпиона разоблачили, троцкиста, а ты: не знаю, не видел, не понимаю?! Или, может, тогда еще, в восемнадцатом, завер-

бовал он тебя в свою троцкистско-шпионскую банду? А ну, карты на стол!»

Ты хотел, я же вижу, как хотел ты ответить, что в восемнадцатом троцкистской бандой можно было назвать разве что саму Красную армию и что не было тогда еще государства, в пользу которого он теперь якобы шпионил, но... Ты промолчал. Ты понимал, что ему ты уже ничем не поможешь, а себя потопить можешь одним вот этим разговором. И вот ты медленно, неохотно, осторожно, по капелькам стал припоминать какие-то мелочи, детали, по которым можно, конечно, было сделать вывод, что не все в дивизии благополучно и что дивизионный комиссар (высоко залетел твой былой знакомец!) Озолин тоже человек не без недостатков, ну так ведь это и так всем ясно. Ты, наверное, рассчитывал на здравый смысл следователей и судей: ну, почитают они такие показания, посмеются, отпустят его, разве что выговор в личное дело занесут. Многие тогда думали, что все эти особые совещания и трибуналы действительно ищут истины и следуют логике. Но тем они и были похожи на ад, что логика там была одна: нужны были жертвы, и более-менее безразлично, какие. Важно, чтобы они были.

«Так и записываем, — едва оторвавшись от бумаги, с упоением заговорил черный человек, — восхвалял царский режим, отрицал заслуги большевистского ЦК нашей партии и лично товарища Сталина (тут его голос перешел на фальцет), готовился к реставрации помещичье-буржуазной власти в СССР! Так ли, майор?» И ты промолчал. Ты ничего не ответил. Ты мог бы сказать, что все не так, что речь идет о неловких шутках и ничемных мелочах, о невинных рассказах про дореволюционную жизнь и что не встречал ты более преданного делу революции человека,

чем товарищ Озолин, но ты промолчал. И ты потом подписал этот протокол.

Мишка, нам не дано прощать за других, поэтому я скажу только одно: Озолин тебя за это простил. Простишь ли ты сам себя? Простит ли тебя Он? Здесь мне остается только надежда, так что пока промолчу. Одно еще добавлю: самые страшные поступки там, на земле, сами по себе еще ничего не предreshают здесь. А твой все-таки не был самым страшным, многое можно найти смягчающих обстоятельств. Ты помни: нет здесь никаких других пределов, кроме тех, которые человек сам поставил себе.

Что ж, смену-ка я тему... Вот на земле пределов человеку ставится много — и моя Надюша, я столько писала тебе о своей подопечной, как раз столкнулась с одним из них, самым ясным, всеобщим: с нашей человеческой телесностью. Мне жалко иногда бывает ангелов, которым неведома телесность. Они не знают, что это такое: бродить босиком по прохладному речному песку, выбегать из жарко натопленной бани и с разбегу окунаться в сугроб, запивать сочный и пряный шашлык терпким рубиновым вином, проводить лунную теплую ночь вдвоем с бесконечно любимым человеком... Не знают, хотя слышаны, как и нам лишь понаслышке известны некоторые свойства их ангельской природы — а может быть, и мы до них когда-нибудь доберемся. Но не сразу, ведь здесь еще не день, здесь только раннее утро, и мы, осиротевшие души, ждем того часа, когда нам будут даны новые тела, и все то, что было дорого и мило на земле, вновь вернется к нам, став еще прекраснее и осязаемее. Мы пока не в Царстве — в его преддверии. Мы не пьем еще нового вина.

Только безумцы (а таких было немало) утверждали, будто плоть греховна сама по себе, будто сотворена нашим

врагом. Да что они, в самом деле? Вообразили себя теми самыми ангелами, что ни разу не купались в чистом озере и не пили хорошего вина? Как бы мог сотворить такое чудо наш вечный враг, интересно... Я просто удивляюсь наивности тех, кто в это верил.

Но вот болезнь — причем не просто мимолетное недомогание, а такая, как сейчас у Нади: настоящая, страшная, предельная, с совершенно неясным пока что исходом... Это же не просто телесное страдание, это такая штука, которая пожирает все, что только еще остается у тебя в жизни, когда ты уже не можешь ни вдохнуть, ни выдохнуть без этой боли, без постоянной мысли о почти несбыточном выздоровлении и нависающем конце. Ты, кажется, совсем не знаешь этого, разве что детская наша корь была к тому близка, но в детстве все воспринимается иначе. Умер ты сразу, от пули. А я через такое проходила дважды, уже взрослой: крупозное воспаление легких сразу после войны и тот букет болезней, с которым я долго и трудно шла к своему переходу. От чего только не лечили, а вот умерла, смешно сказать, от тромба! Ладно, это я отвлеклась.

Ведь это тоже урок, и очень важный: так облетает в человеке все лишнее, наносное. Я и сама удивлялась себе: как мало я знала и ценила жизнь! Выздоровливающий, которому впервые дали выйти на улицу, вдыхает этот воздух с привкусом гари, слушает крики грачей или гудение автомобилей, любитесь замызганным больничным садиком так, будто нет и не бывает в мире ничего прекраснее, — потому что это и есть жизнь. Он все было куда-то бежал, торопился, не замечал этих листьев, птиц, трещин на асфальте, а теперь нет для него ничего дороже и ближе.

Умиравший точно так же смотрит вглубь себя и вглубь окруживших его людей, и вдруг находит он такую же

невыразимую красоту во всех мелочах, которые он, казалось бы, забросил, во всей обыденности и серости — и разом забрасывает многое из того, что казалось важным. Ты видел смерть больше моего, хотя на войне всё иначе — там она длится минуты, редко когда часы, и нет времени на подготовку. Для кого-то такая спешка — блаженство, ему не надо трудиться; а для кого-то, может быть, упущенная возможность разобраться с самим собой. Хотя... раз не было ему это дано, значит, не вышло бы из такого разбирательства ничего путного, вот что я думаю.

Но это всё общие слова. Общие — а как еще рассказать о Наде? Сказать ли, что ей стало больно, и хуже того — страшно? Блеклые, невыразительные слова. Когда она узнала диагноз (а все зашло уже очень далеко, у нее эта гадость развивается довольно быстро, да и припозднилась она с врачами), мир рухнул. Были планы, надежды, расчеты — осталось только гадать, сколько еще ей отпущено болезнью. Если всерьез, то несколько месяцев, говорили врачи, хотя все бывает на свете... Все. Вот и надеется Надя.

Чудеса происходят с нами постоянно, только мы их не замечаем. Помнишь, как я совсем маленькой горячо молилась перед трудными французскими диктовками и математическими контрольными, а ты уже тогда посмеивался надо мной? Нет, чтобы попросить о чем-то действительно важном и нужном, не размениваться по мелочам. Неважно мне было, воскресали ли мертвые, выходили ли люди невредимыми из пламени, а важно, чтобы завтра доставили те немногие вопросы, которые я хотя бы немного знала. Вот это бы вышло чудо так чудо! Нелепость? А если так просит человек о собственном исцелении — это как? Это ведь уже не мелочь, но суть та же: пусть у меня все будет хорошо! Вот такие мы, и Надя не исключение.

Так что это еще и огромное испытание для Надюшной веры. Мы все так привыкли произносить на земле «да будет воля Твоя», а вот тут ей задан самый трудный, невыносимый вариант этой молитвы: может быть, воля Его как раз в том, чего ты страшишься больше всего на свете. Сможешь ли ты повторить тогда эти слова? Сможешь ли хотя бы заметить это жгучее, нестерпимое несовпадение двух волей, принять его и преодолеть? Или скажешь: «да будет вот в этом — моя, а в остальном, как знаешь»? Вот это и будет концом. Я, наверное, и сама бы так сказала в ее возрасте — старухе-то умирать было проще, естественней, долго я к этому шла. Да я в ее возрасте и не верила ни во что.

Но ей очень важно теперь верить, и зато, знаешь, не так уже ей важно, к какому именно церковному кружку принадлежать. На общественную деятельность времени с этим лечением все меньше остается, да это и к лучшему, а вот ценность простого общения с самыми разными людьми начинает она чувствовать в полной мере. Лишнее облетает, как листья с дерева в октябре, — не до них дереву, готовящемуся к трудной и долгой зиме.

«Христос посреди нас» — это ведь действительно формула Церкви. Не «нас, которые такие, в отличие от тех, которые эдакие», а нас разных, грешных и неприятных, но собравшихся вместе здесь и сейчас. Знаешь, когда на собрании своей молитвенной группы она рассказала о своем диагнозе, это был такой прорыв, такая яркая, честная, сильная общая молитва за нее, какая остается с человеком на всю жизнь, и не только земную. Да, посреди нас — и как жаль, Мишенька, что на земле этого никогда не пережил ты, да и множество других людей этого не знает... Если бы знали — пошли бы за Ним почти все, я уверена.

Услышав диагноз, Наденька, конечно, заметалась. Сначала не верила, потом подняла на ноги всех родных и знакомых — искать светил медицины, устраивать госпитализации, осмотры, всё, что только можно. И знаешь, сколько вокруг оказалось верных, хороших людей! Трудно было о таком и подумать, пожалуй. Перед ними ведь тоже вставала во весь рост эта наша немощная, всеобщая телесность: могло бы статься с каждым, вот хоть со мной или моими любимыми, а выпало ей. «Послушайте! — Еще меня любите за то, что я умру», — я приводела тебе эту гениальную строчку юной девушки откуда-то с Бронной, но ведь если это не когда-то, не через полвека, а скоро, вот здесь и сейчас, тогда действительно за такое любят. То есть забывают обо всем, чего не дождались от этого человека, и вспоминают, что ему не додали.

Ты не представляешь, как перевернула Надина болезнь их отношения с Антоном. Сначала, может быть, это была просто естественная реакция двоих людей, перед которыми встала общая опасность (но важно, что они сразу и осознали ее общей!), — немедленно начать что-то делать, спастись, уходить! И тут уже не раздражала Надю его привычная медлительность, она оказалась основательностью и осмотрительностью, а его — ее легковесность, то есть быстрота и живость. Оказалось, они прекрасно дополняют друг друга! А если вопрос, который оба задают себе ежечасно, не «кто как кого сегодня обидел», а «долго ли еще мы сможем видеть друг друга», то просто диву даешься, с какой радостью и легкостью люди готовы прощать и уступать. Куда улетели все эти обидки и непонятки? Ну, осталось немного, по-прежнему его раздражает ее безалаберность, ее — его лень, но как нетрудно это все потерпеть, когда...

А тот предмет ее воздыханий? Оказалось, он действительно любит ее, и вовсе не той любовью, о которой поет вся нынешняя эстрада, когда «люблю» переводится как «хочу, очень хочу, аж терпеть не могу!». Его «люблю» означало «я сумею, я ничего не пожалею, я помогу». И если он собирал деньги на лечение, то стеснялся, что сам дает мало, а если давал много, то грустил, что и эта сумма ничего не гарантирует и что вообще не в деньгах тут дело... Он дал ей, кажется, гораздо больше, чем мог бы дать в простом и непритязательном романчике вроде тех, какие ты заводил по гарнизонам. Он теперь действительно хотел подарить ей целый мир, а она готова была принять его из рук любимого. И оба при этом с удивлением и грустью осознают, что не им принадлежит этот мир и что так мало могут сделать руки по сравнению с желанием сердца. И ни капельки ревности между ним и Антоном — о чем тут ревновать, как не о благе любимой? Они начали всерьез дружить.

А сколько нашлось у Нади настоящих друзей — и тех, кто когда-то отошел в сторону, и тех, кто казался ей просто коллегой по работе, знакомым по клубу... Бывший ее духовник принял самое горячее участие, хотя, казалось бы, что ему теперь — а всем приходом там деньги собирали. Ох и дорогое же это выходит лечение — а другого нет и не предвидится. Но если деньги позволяют раскрыть сердца, их точно не жалко.

Стоит ли так тяжело заболеть, чтобы вспомнить настоящий смысл слова «любовь»? Я не знаю, я всего лишь наблюдатель. Не я решаю, и очень этому рада. Но Тот, Кто так решил с Надюшиной судьбой, знает не меньше моего и любит ее не слабее, чем я. Разве это Он, спросишь ты? Разве Ему нужны болезнь и смерть, разве на-

сылает Он их на свои любимые творения? Нет, Он сотворил нас, а не нашу смерть. Но мы уже не в Эдеме. Ты только не спрашивай меня, каким был мир до падения Адама и Евы, была ли это та же земля и как там звери ели друг друга и умирали от болезней задолго до появления человека — я ничего об этом точно не знаю, меня там не было. Сдается мне, что это был какой-то совсем другой мир и все, что мы теперь видим на земле, приобрело свой нынешний вид уже после первого греха. Слишком много там грязи и страданий, а до того, я верю, их не было и однажды снова не будет — когда наше утро сменится днем.

И если сейчас грязь, страдания и смерть есть в земном мире, то не Он посылает их. Они, порождения человеческого грехопадения, существуют и действуют сами — но не поперек Его воле, а только там, где Он позволит им действовать. И значит, каждое черное пятнышко, каждая наша боль не проходят мимо Него, и у каждой может быть смысл и цель, если мы сумеем их понять и принять. О чем и прошу для Надюши — и для тебя тоже, мой родной и бесконечно дорогой брат. Много черного в каждом из нас, но многим былая чернота и помогла подняться к свету.

Ты прости, если долго теперь не буду писать, — очень сложное теперь время для нее, а значит, и для меня. А пока что крепко обнимаю тебя.

Твоя Маша.

16.

Мишенька, моя Надюша умирает. Наверняка никто не знает, даже здесь, сколько осталось до последнего вздоха дней или недель, а то и месяцев. Когда будет готова, точнее, когда подготовится настолько, насколько это вообще возможно сейчас для нее. Мне вот понадобилось полгода в больнице, отвратительное, я тебе скажу, место. Хорошо, что ей дают побыть дома, хотя и не подолгу.

Но сама она знает, что от этой болезни ей уже не встать, если, разумеется, не будет чуда — а про чудо она запретила себе думать. Чудеса бывают тогда, когда нам это действительно нужно, а не когда хочется. Поэтому сейчас ее молитва — это не столько просьба, сколько доверительный разговор в стремлении открыть Ему свое сердце, передать всю свою жизнь, и прошлую, и будущую (отчего-то это бывает намного легче, когда буду-

щей остается совсем немного, знаю по себе). Наверное, это самый высокий и чистый вид молитвы, по крайней мере мне самой не удалось пережить ничего выше.

На земле есть столько разных книг, которые учат жить: как варить варенье и как выходить замуж, как достичь успеха в делах и как молиться-поститься. Особенно много стали их издавать теперь. Но я не видела ни одной книги, которая бы учила умирать — а ведь это самое важное для человека умение. Впрочем, наверное, и не надо таких книг в обычных магазинах, большими тиражами, с яркими картинками, совсем не те там будут советы. Это умение каждый обретает в сам, не по подсказке, и каждый, пожалуй, слишком поздно.

А ведь самый лучший урок умирания, который я знала на земле, это была исповедь: становишься перед Ним и подводишь итог своей прежней жизни. Люди иногда говорят: вот поживу пока в свое удовольствие, а перед смертью покаюсь. С тем же успехом можно было говорить: не стану никогда кататься на коньках, а потом, за день до смерти, сразу встану на них и поеду. Да ведь если и поймешь этот самый момент, за полчаса до смерти, уже поздно будет учиться тому, чего никогда не умел и чему вообще не так быстро учатся.

Знаешь, она ведь уже года три как в церкви — и все равно именно теперь произошла у нее удивительно новая, близкая встреча с Ним. Только теперь она поняла, что и Он проходил через умирание, страшное, болезненное, но, в отличие от нее, еще и позорное, одинокое, не согретое почти ни одним лучиком сочувствия (говорю «почти», потому что совсем без сочувствия и Он бы, наверное, не смог). Значит, Он может ее в этом понять, значит, и в смерти она не будет одинока.

Но не только с Ним произошла свежая встреча. Какие любящие и красивые оказались вокруг нее люди! Ни я, ни она не думали и не знали об этом. Неужели нужно было случиться такому, чтобы люди раскрылись с этой своей стороны, забыв о незначительных своих разногласиях? Я гляжу на Надю, на ее родных и друзей и думаю: вот все, все мы знаем, что умрем и сами, и все наши родные — и старательно забываем об этом ради каких-то не стоящих внимания мелочей. Умеем же мы вспоминать о главном, когда один из нас уходит, — как жаль, что забываем во все остальное время. И как глупо. Через месяц будет ее переход или через пятьдесят лет, он все равно будет, и жалко будет каждой секунды, каждого недопрожитого дня, недоговоренного слова, недопущенного человека.

А больше всего, наверное, преобразились ее родители. Отец взял да и вернулся в ее жизнь, вернулся неловко, неуклюже, некстати — но все же принял участие хоть в чем-то, хотя бы всплакнул с ней вместе. Уже не так мало, если сравнивать с тем, что было. А вообще плакать вместе с собственным отцом, прижавшись к его плечу, — это такая, скажу тебе, роскошь... Но сыновьям, наверное, этой роскоши совсем не достается, вся она уходит дочкам. Мне вот тоже досталось пережить это уже только после перехода, а при земной жизни — никогда.

С Надиной мамой, внучкой моей Сашенькой, все конечно, гораздо, гораздо сложнее. Досталась Надюше одна из тех мам, которые совершенно точно знают, как их ребенку следует прожить каждую секунду, и вот донимают они своих детей: когда подробнейшими, ничемными наставлениями, когда просто молчаливым неодобрением. А тут вдруг сквозь все эти мелочные и ненужные вопросы: «А какие у тебя анализы? А что сказал врач? А как среа-

гировал Антон? А не вредно ли тебе то и это?» (вопросы, от которых Наденька просто зверела, уходя в глухую оборону) — сквозь них прорвалось-таки сознание, что секунд этих мало и что уже бессмысленно учить жить свое дитя. Сама доживет, как сумеет, ты просто поживи вместе с ней, пока не поздно, ты ей хотя бы немного помоги, ничего не спрашивая и не ожидая, — просто помоги, как в далеком детстве, справиться с черным, липким ужасом, с кошмаром боли, с наплывами отчаяния. Так, как может это сделать мама, не сможет никто. Кажется, Саша совсем уже этому разучилась — но теперь она все-таки попыталась это сделать, и еще раз, и еще. Начало получаться.

Может быть, меня после Нади пустят к Саше? Я ведь уже неплохо начала ее понимать, хотя... Ох, ладно, не будем заглядывать вперед. Мне бы Надю суметь проводить, точнее — встретить.

И как сама Надя стала ценить каждый час своей жизни! Успеть договорить недоговоренное, прочесть непрочитанное, додумать непродуманное. Знаешь, она по-прежнему пишет, и даже больше и чаще, чем прежде, но теперь это не рассуждения, «как правильно» (я немного опасалась такого, помнишь), а скорее попытка очень просто и честно поделиться собственным небольшим опытом и опытом других людей, которые ей доверились. И сдается мне, что это самый верный вид творчества — а на другие времена уже не осталось. Сдается мне, что порой такие люди, даже если они прикованы к постели, живут куда ярче и полноценнее тех, кто собирается провести в привычных хлопотах и долгих развлечениях десятилетия. Нет, они не умирают — они действительно живут, они совершают главное.

Ведь все знаем, что на земле нам быть не вечно, что этот нынешний час не повторится — а все равно, особенно

в молодости, тратим время на что угодно, и бессмысленные часы складываются в пустые дни и годы. Все нужное и интересное «успеется», и только потом, кто годам к тридцати, кто к сорока, кто и того позже, оглядываемся и думаем: да ведь почти ничего не успела. На что время тратила, на что силы и деньги? Добро бы на удовольствия, так и тех ведь не получила, так, время убивала. Как точно говорят: «убить время». То есть, на самом деле, убить себя в этом времени, приблизить собственную смерть еще на час или два и ничегошеньки не получить взамен. Роскошь, доступная только тем, кто верит, что часов осталось бесконечно много. Вот кого точно можно назвать «умирающими»...

Ну что еще сказать тебе о ней? Я так много говорю о хо-рошем, что тебе все это может показаться чуть ли не радостью. Конечно же, Надины дни переполнены настоящей болью, и есть в них место для тупого, сосущего отчаяния, и панического, черного страха: а что, если и вправду чернота, небытие или вечная погибель? Что, если это действительно конец? Боль настоящая — но и радость, какой бы скупой она теперь ни была, тоже настоящая. Лжи не осталось.

Я по-прежнему не знаю, почему это произошло именно с Надюшей, — нет в ней ничего такого, чего не было бы в сотнях и тысячах других людей. А случайностей, мы знаем, не бывает. Остается просто принимать все это, как есть. Чем же я могу ей помочь? Да практически ничем. Маленькие подсказки уже не так ей и нужны, а встречи происходят сейчас сами по себе. Она большой молодец, я после куда более долгой земной жизни уходила не так уверенно и не так умело, как она.

Я вообще неожиданно для себя пришла к такому выводу: мое наблюдательство нужно не столько Надюше,

сколько мне самой. Я очень мало чем помогла ей, но, кажется, я во многом разобралась в себе. Для того, наверное, и доверили мне быть при ней наблюдателем.

А перед тобой я должна извиниться, Мишка. Помнишь, я удивлялась в прошлых письмах, что мы так мало общались с тобой в двадцатые и даже тридцатые годы, что не писали друг другу? Так ведь нечему удивляться на самом деле. Мне помог разговор с Максимычем, даже странно, что прежде мы этого никогда не обсуждали — может быть, потому, что ты дремлешь, мы не видим тебя рядом с нами.

Так вот... Мы же оба (но я буду извиняться только за себя, конечно) восприняли твой уход из дома и возвращение в красноармейском мундире почти как предательство. Знаешь, если бы не наши долгие разговоры с Лизой, не моя пылкая уверенность, что ты уже давно воюешь в рядах добровольцев и что в Москву ты вернешься на белом коне, белым героем под трехцветным знаменем, — может быть, иначе сложилась бы ваша встреча, не распался бы ваш союз. Я столько всего навоображала о тебе... Конечно, сама я была безумно рада видеть тебя любим, но эти мои неумные фантазии слишком многим крепко запали в душу и заставили в тебе разочароваться. А кто очаровывал, спрашивается? Ты уж меня прости, брат.

Максимыч тоже остро чувствует свою вину перед тобой. Он никогда прежде не рассказывал мне, только теперь сообщил: ведь ты после Польской кампании не соби-рался оставаться в Красной армии, ты хотел вернуться на студенческую скамью. Он, бывший твой преподаватель, вынужден был переквалифицироваться из юриста в историка (ну что поделать, если римское право не интересовало победившую диктатуру пролетариата — пришлось

преподавать историю того самого Рима). И ты хотел было снова пойти к нему в студенты — но его ответ был резким, как ему казалось, «принципиальным». Это было такое «нет», которое заставило тебя забыть обо всем. И об этом «нет» он рассказал остальным, и это «нет» закрыло для тебя много других дверей.

«Я просто произвел его в предатели, — сказал мне Максимыч, — настоящее свинство с моей стороны. Миша был человеком с идеалами и убеждениями, и я был таким же, просто наши идеалы по-разному пережили столкновение с реальностью, да и изначально были они не совсем одинаковыми. В общем, взял я тогда на себя роль судьи — хотел встать в красивую позу, а оказалось, что определил этой позой Мишино будущее». Так что он тоже хочет искренне извиниться перед тобой.

А потом, Мишка, и в самом деле, это же я сама не तोпила отвечать на редкие твои письма, я вообще очень мало думала о тебе настоящем — все больше об идеальном золотом мальчике, который запомнился мне из гимназических лет, словно не было у тебя права быть самим собой и строить собственную жизнь. И только потом, когда пришлось мне очень-очень трудно, как теперь Наденьке, и ты меня не бросил и так мне помог, я снова приняла тебя — и не столько тебя, настоящего, сколько мостик от того воображаемого золотого мальчишки.

А ведь и правда, Мишка, мне придется заново знакомиться с тобой настоящим, учиться понимать и принимать тебя. Ну, здесь этим никого не удивишь, и я уверена, что все у нас получится. Ты только просыпайся поскорей!

Твоя Маша.

17.

Мишенька, здравствуй!

Надюша с нами. Я была на ее отпевании, где видела и ее трепещущую, обнаженную, растерзанную душу, невидимую ни для кого из них, земных. Помню это по себе: родные лица, и совсем-совсем не можешь дотянуться до них, сказать им, что ты здесь. Трудно это. А само отпевание — трагичное, строгое, печальное, и вдруг оно светлеет, вдруг рвется ввысь и вглубь, а из надгробного рыдания возникает торжествующая песнь: «Аллилуйя». Сначала надеждой, а потом и уверенностью звучит это в отпевании: ушедшие — там, где свет и святые, они приходят домой. Всякому человеку это поют, и часто авансом, и порой очень-очень щедрым авансом, но теперь не было ни у кого никаких сомнений: это так и есть. Наденька и переходом своим приотворила дверь в вечность для всех, кто ее провожал.

Я не удивлюсь, если теперь увижу в храме Сашу, ее маму, — сначала с робкой заупокойной свечкой, потом и с путаным вопросом, потом и с неумелой горячей молитвой. Но это ее жизнь, и я ничего не могу пока о ней сказать.

Переход не зря зовут рождением в новую жизнь. Это ты, соня, спишь, а Надюше предстоит теперь всему заново учиться, как училась она на земле дышать, и есть, и ходить, и узнавать родных, и улыбаться, и вообще жить в том мире. Здесь учиться приходится точно так же, только уроки куда труднее и прекраснее. Вот в этом я действительно смогу ей помочь, сама же недавно через все проходила.

А встречал Надюшу Максимыч, это он ведь ее хранитель. Я не знаю, кто был, а может быть, и остается хранителем у тебя — это ты сам узнаешь, когда очнешься от своей дремы. Но рождение для вечной жизни я только что наблюдала — и судороги тела, и взлет удивленной новой души, и ласковую улыбку Максимыча, и то странное шевеление тьмы где-то у них под ногами, в котором с трудом можно было опознать проигравших на сей раз бесов. Жаль, что не всегда бывает их поражение таким полным, как с Надюшей, что есть еще у них в этом мире победы — пока не настал День. Но Надя наша с нами.

Ждем тебя. Ты знаешь, я узнала о тебе еще одну вещь, значит, и ее я смогла теперь принять. Я видела теперь, что та история с Петером не была единичной, ни даже первой. Труден был тебе этот выбор, я знаю, но ты был царский офицер совсем не пролетарского происхождения, тебе надо было как-то выживать... Тебе предложили, от тебя потребовали, тебе пригрозили — ты согласился сотрудничать. Я слышала этот механический леденящий голос: «Если вы советский человек, майор Раменьев,

если сами не вредитель, а честный командир, то должны помочь нам в разоблачении врагов народа» — и видела этот серый, бессмысленный и безнадежный кабинет и такой же взгляд, сверливший тебя. Не смог ты уйти от него, Миша, и не мне осуждать тебя.

Ты же ничего, по сути, не выслужил себе регулярными визитами к черному человеку — ты просто сохранил себе жизнь. Тебе даже не предлагали занять вакантные должности, которых становилось все больше и больше, — они были для людей с хорошими анкетными данными, и ты со всем своим огромным боевым опытом так и встретил вторую войну пехотным подполковником.

И вообще, все начиналось с каких-то очень мелких вещей, с рассказов о настоящих упущениях по службе действительно нерадивых командиров, за которые следовало бы надавать им по шапке, это даже еще нельзя было назвать доносами. Потом с тебя стали требовать больше, и чаще, и подробнее, и ты нехотя, но давал, понимая, что именно последует за отказом для тебя — и что будет с остальными после твоих показаний. Ты был слаб, Миша, но кто из нас не бывал слаб?

Максимыч, оказывается, давно уже знал, чьи именно показания стали первыми в картонной папке с его делом, — а я узнала об этом только теперь. Это тяжело, Миша, очень тяжело. Но ты не думай плохого — Максимыч давно простил и принял, он же сам говорил: «Это я назначил его предателем». Я и не могла тогда подозревать, как страшно сработало то назначение. «Да ведь в любом случае, — говорит Максимыч, — вряд ли бы оставили меня на свободе, так что Миша меня не посадил, он просто позволил посадить меня от своего имени, просто подписал заготовленный текст. И то не сразу».

Я видела, что в тот вечер, когда тебя спросили про мужа твоей сестры, ты сделал неслыханное: попросил сутки отсрочки. Ты сказал, что хочешь все детально вспомнить и оценить, и долго, долго шатался без цели по улочкам гарнизонного городка, не замечая ни промозглого дождя, ни бравурных плакатов, ни бойцов, отдававших тебе честь. Потом ты пришел домой, по привычке снял шинель, отказался от ужина, не взглянув на встревоженную Чинару и спящих малышей, прошел в другую комнату, сел за стол, попросил ее туда не входить. Достал пистолет и положил его на стол перед собой. Ты долго сидел и смотрел и уже ни о чем, совсем ни о чем не думал. Оставалось совсем простое, и ты не боялся этого.

А потом... Ведь на свете были еще Чинара, двое твоих малышей, были мы с Антоном. Ты убрал пистолет и достал лист бумаги. Я же знаю, Мишенька, что во всех своих «показаниях» ты очень тщательно обходил стороной меня, оберегая нас с Антошкой. И мы помним это. Мы остались на свободе, может быть, именно потому, что первые показания давал ты, а не кто-то другой, кому было бы все равно.

Я снова вижу ту пропыленную степь сорок второго года, того раненого с пистолетом у седого виска — моего брата. Я слышу его слова: «Вот если бы еще тогда... Машка, прости!» — и теперь их смысл полностью открыт мне. Мишенька, тогда не получилось. В жизни мало что получается, как мы хотим. Сложная штука эта жизнь — и смерть ни капли не делает ее проще.

«Тогда» ушло, и в нашей власти сделать так, чтобы впредь оно ничего для нас не значило. Остается «сейчас» — как дверь в наше общее «всегда».

У постели человека, рождающегося в новую жизнь, — это я видела по Надюшиным родным — вечно торопя-

щиеся, вечно привередливые люди невольно учатся ждать и принимать. Не в их власти времена и сроки. Сначала они вопят: «Только не это, только не сейчас!» Потом, вымотанные и опустошенные, они тихонечно стонут: «Тогда уж поскорей», — и сами стыдятся этих слов. Нет, цветок распускается в свой срок, и в свой срок рождается человек в земной мир, и в свой срок — в мир иной. Принятие, прикосновение, соучастие — вот как нам много дано! И в самом, самом конце они молча сидят у постели, глядят обескровленные руки, ничего не торопят, ничего не отвергают, а просто принимают родного человека — и так отпускают его.

Так и я заклинала тебя: «Просыпайся, мой брат, просыпайся!» — ведь без тебя, как без мамы, наша радость никогда не будет полной. Но я не знаю пределов твоего сна, не вижу пока его смысла — я могу только угадывать. Учиться ожиданию и терпению и готовиться к встрече. Не по моему хотению шла твоя жизнь на земле, и не нему пойдет она здесь, я знаю. И когда ты проснешься в свой час, то знай, что я жду тебя, я прошу за тебя, я люблю тебя — мой старший, мой единственный брат!

Машка.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ